

ISSN 0236-3283

1/91

ЦОЙ.
КОВБОЙ.
ЧЕЛОВЕК МОСТОВОЙ –
в рубрике
"Кумиры и звезды"

МБ

Главный редактор
Геннадий БУДНИКОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АБРАМОВ
Тамара АЛЕКСАНДРОВА
Игорь ВАСИЛЬЕВ
(ответственный секретарь)
Андрей КОСЕНКИН
Альберт ЛИХАНОВ
Дмитрий МАМЛЕЕВ
Георгий ПРЯХИН
Григорий ТЕРЗИБАШЬЯНЦ
(заместитель главного редактора)

Главный художник
Валерий КРАСНОВСКИЙ

Художественный редактор
Елена СОКОВА

Технический редактор
Ольга ЛАЗАРЕВА

На первой странице обложки
фото Георгия МОЛИТВИНА

Адрес редакции:
107005, Москва, Б-5, аб. ящик №1.

© "МЫ", 1991
Издательство "Дом"
Советского детского фонда
имени В. И. Ленина
Адрес: 101963, Москва,
Армянский переулок, 11/2А.
Телефон: 923-66-61

Отпечатано в типографии
А/О Принт-Юхтиёт
Соннипринт Финляндия
при посредничестве
В/О "Внешторгиздат"

Сдано в набор 25.10.90 г.
Подписано в печать 26.11.90 г.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,1.
Уч. — изд. л. 12,72. Тираж 1750000

1/91



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
СОВЕТСКОГО
ДЕТСКОГО ФОНДА
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к читателям	2
-----------------------------	---

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Кир Булычев. Со старым годом! Повесть	4
Зарубежный детектив. Говард Фаст. Филлис. Роман. Перевод с английского	49
Александр Яковлев. Пограничный возраст. Рассказ	172
Андрей Макаревич. Слишком короток век. Стихи	37

ПРОБА ПЕРА

Стихотворение из конверта	145
---------------------------------	-----

НАШЕ ВЕЧНОЕ

Учение Христа, изложенное для детей Львом Толстым	148
---------------------------------------------------------	-----

ГОВОРЯ ОТКРОВЕННО

Владимир Чередниченко. Дневник Наташи	122
Георгий Танутров. Люди гибнут за "металл"!	177
Письма в "Мы"	160
Ищу друга	187
Джил Файергальд. Черные пятна леопарда. Перевод с английского	117
Дмитрий Кленский. У нижнего края облака.	42

КУМИРЫ И ЗВЕЗДЫ

Цой. Ковбой. Человек мостовой	165
На малом экране. Видеообзор	191

ДОРОГИЕ

Этот первый номер 1991 года открывает новую, вторую страницу в истории журнала. Подписчики 1990 года начали получать журнал со второго полугодия (не будем беречь старые раны: о причинах мы уже говорили достаточно, и вряд ли есть смысл повторяться), несколько номеров, чтобы наверстать упущенное, пришлось делать сдвоенными... И сегодня мы хотим сказать огромное спасибо тем, кто сумел понять наши беды и трудности, сумел быть терпеливым и благородным и протянул с в о е м у журналу "Мы", который еще только становится на ноги, руку дружбы – остался подписчиком и на нынешний, 1991 год. И хотя говорят: "Старый друг лучше новых двух", – эти же слова благодарности мы в равной степени адресуем и нашим новым друзьям, тем, кто подписался на журнал впервые. В редакцию приходит огромное количество писем, в них – пожелания, советы, как сделать журнал интереснее, что хотелось бы прочитать, с кем встретиться на его страницах. Мы понимаем, что это письма людей неравнодушных, тех, для кого журнал уже стал своим, и признательны за это их авторам. Конечно, нет возможности ответить каждому персонально, но уверяем вас, что любое ваше предложение не остается без внимания. Да вы, вероятно, и сами чувствуете это по тому, как меняется содержание, появляются новые рубрики, материалы, подготовленные в ответ на ваши просьбы. И планы нынешнего года мы формировали в соответствии с вашими интересами, пожеланиями.

ЧИТАТЕЛИ!

Много откликов вызвала публикация библейских легенд "Вавилонская башня". Поэтому мы решили продолжить тему и предложить вам "Учение Христа", изложенное для детей Львом Николаевичем Толстым.

Тем, кто любит детективы и фантастику, думаем, понравятся остросюжетные романы Говарда Фаста "Филлис"

и Лэна Дейтона "Лошадь под водой", а также фантастические повести Кира Булычева "Со старым годом!"

и Владимира Михановского "Великий посев". В рубрике "Наше прошлое" вы прочитаете главы из книги американского историка Роберта Мейсси "Николай и Александра", рассказывающей о последней царской семье России,

а в цикле документальных очерков Владимира Чередниченко "Игры в любовь" будут опубликованы записки из колонии для несовершеннолетних преступниц, из спецдиспансера для подростков, дневник интимной жизни десятиклассницы и другие материалы.

Вас ждут интересные встречи со звездами отечественной и зарубежной рок- и поп-музыки, спорта, театра, кино. Имена многих из них вы сами назвали в своих письмах.

Мы делаем журнал не только для вас, но и вместе с вами.

Мы верим в своего читателя и сами будем верны ему.

А пока присоединяемся к Киру Булычеву, повесть которого открывает этот номер, — "Со старым годом!"

И с новым годом нашей жизни тоже!

Кир БУЛЫЧЕВ

СО СТАРЫМ ГОДОМ!

ПОВЕСТЬ

Почти закон: под Новый год в Москве оттепель. Две недели природа засыпает город снегом и инеем, машет простынями метелей, украшает окна и витрины белыми узорами — и вот за несколько часов все это великолепии размокает.

С неба сыплется мокрая крупа, сугробы съеживаются и темнеют, из подворотен выползают лужи, насморк и кашель набрасываются на население столицы — но новогоднему настроению эти неприятности не мешают.

Люди — мастера обманывать себя надеждами, что наступающий год в два счета покончит с бедами, обманами, болезнями, разочарованиями — утром проснешься, и все улажено, даже умирать никто не будет.

Способность человечества к самообману просто фантастична. Кажется бы, за миллион лет пора повзрослеть, набраться печального опыта...

Примерно так размышлял Егор Чехонин, поджидая автобус в Медведкове и наблюдая за тем, как скользит, торопится к остановке толстяк в дубленке, волочит сетку, полную зеленых кубинских апельсинов, а под мышкой зажал бумажный сверток, из которого жестко торчит хвост горбуши.

Рассуждения о человеческой наивности не были данью минутному

настроению. Если кто-нибудь в Москве имел право осуждать предно-
вседневную суету — им был Егор.

Подошел автобус. Он был неполон, но казался полным, потому что женщины предпочитали стоять в проходе, берегли платья, не садились. А мужчины стояли из солидарности. Только толстяк уселся перед Егором, положил сетку на колени, а горбушу держал на весу — хвост к потолку.

В автобусе пахло духами. Озабоченно смеялись женщины. Кто-то ахнул: "Неужели забыли?" Чего забыли?

Егор смотрел в мокрую темноту за окном автобуса и заново пере-
живал разговор с Гариком, причем теперь-то он находил нужные,
ядовитые слова и неотразимые аргументы. Но что за радость махать
шашкой вслед умчавшемуся врагу?

...Целый час Егор ждал Гарика на лестнице. Уже давно стемнело,
хлопали двери, отовсюду сбегались съедобные запахи, а Егор с утра
ничего не ел.

Он забыл о голоде, пока разыскивал новый адрес этого Гарика, ехал
сюда, бродил среди одинаковых корпусов, репетировал мысленно, что
он скажет Гарiku и что ответит ему Гарик, как Гарик будет врать и
изворачиваться и как он прижмет Гарика в угол и как Гарик в конце
концов сдастся и принесет магнитофон. Но Гарика все не было, и
жуткий, терзающий голод завладел Егором и, может быть, именно он
лишил его аргументы убедительности и силы. Потому что когда Гарик
наконец пришел — распахнул дверь лифта, расстегнул дутое, словно
кремом наполненное пальто, доставая из фирменных джинсов ключ,
увидел вскопленного с подоконника Егора, узнал, махнул толстой рукой,
приглашая заходить, в этот момент Егор совершенно забыл, как сле-
довало говорить с Гариком.

Потом они стояли посреди пустой комнаты — только неубранная
койка в углу, рок-звезды из журналов на стенах, проигрыватель с гро-
мкими выносными динамиками, кипы дисков на журнальном сто-
лике. Они стояли, Гарик скучал, потому что знал, чем кончится разговор,
а Егор никак не мог пробиться сквозь эту скуку и тоже догадывался, чем
разговор кончится.

— Но ты же брал, брал же?! — Егор запомнил лишь свои слова,
ответы Гарика начисто вылетели из головы. — Ведь ты обещал отдать?
Не помнишь?.. Я напому. Отцовский магнитофон, "грундик", двух-
кассетник, стерео, я его с собой в школу взял, головка полетела, Смир-
ницкий из десятого "Б" мне твой телефон дал. Ты обещал за три дня
сделать, позавчера вернуть. Я тебе две кассеты за это отдал. Отдал
ведь?.. — А Гарiku было скучно слушать Егора, ведь он не знает ника-
кого магнитофона, ничего не знает и вообще ему пора уходить, а может,
он ждал гостей... А вот это Егор запомнил:

— Ты бы расписку взял, — Гарик говорил сочувственно. — Хотя
какой-нибудь документ. Разве можно так легкомысленно людям дове-
рять? Ведь никто не видал, как ты мне ящик передавал.

Потом разговор как-то еще продолжался. Почему-то Гарик пошел на
кухню, поставил чайник, открыл холодильник, начал считать в нем бу-

тылки. А Егор стоял в дверях кухни и говорил, хотя ему было стыдно говорить и просить. А Гарик не шумел, не бил себя в грудь, не выталикивал Егора из квартиры, терпел и скучал. И занимался своими делами.

— У тебя совесть есть?

— Жалкие остатки, в ближайшее время постараюсь отделаться. — Гарик говорил искренне, он смотрел на Егора сверху — он был на голову выше незваного гостя, а Егор жалел, что у него нет пистолета. Вынуть бы пистолет и увидеть страх на этом самодовольном розовом лице.

Потом Егор ушел. Как — тоже вылетело из головы.

Он не сразу поехал домой. Наверно, целый час брел по улице, скользил по мокрому снегу и снова повторял уже ненужный разговор с Гариком, находя куда более убедительные слова, но возвращаться было поздно.

А потом Егор вдруг увидел на столбе часы. Часы показывали без пяти десять.

И тогда, хоть в этом не было никакого смысла, Егор поспешил к автобусной остановке.

Между ним и другими людьми в автобусе возникла стеклянная перегородка. Сквозь нее плохо проникали звуки. Почему-то не отпускал голод. Хотелось вытащить за хвост горбушу из бумажного пакета и сожрать с чешуей. Егор вышел из автобуса, и стеклянная перегородка осталась вокруг. Навстречу шел человек с худосочной елкой, елка задела Егора за рукав, и несколько иголок осталось на рукаве — а как же елка прорвала стеклянную перегородку?

Идти домой было бессмысленно. Мать спросит: "Куда пропал? Где хлеб? Мы что же, без хлеба на Новый год останемся?" Хлеба он не купил — до встречи с Гариком было не до этого, а после поздно, все булочные уже закрылись. Отец загремит: "Ты принес магнитофон?" Магнитофон был любимой, дорогой, новой игрушкой отца, и тут уже ни возраст, ни солидность — ничего в расчет не идет. Может быть, когда-то и Егор был самой новой и дорогой игрушкой отца, может, и мать когда-то побывала в таких игрушках. Но сегодня самая любимая игрушка — магнитофон. И магнитофона нет. Когда утром отец спохватился — вышла сцена, которую невозможно описать. Не потому что она была шумной — наоборот — весь разговор шел на полутонах. Цепочки лжи, придуманные Егором, были неубедительны, фальшивы и противны ему самому. И все эти "ну, поверь, папа", "я обещаю, папа", "даю слово, папа" — были лишь жалкими попытками оттянуть время и даже убедить самого себя, что он наконец отыщет этого Гарика и все кончится хорошо...

Все кончилось плохо.

...В метро то же, что и в автобусе. Казалось, что вагон движется не только в пространстве, но и во времени. Он несет всех этих возбужденных, веселых, задумчивых людей к границе, стоит перейти которую — начнется новая жизнь. И граница не вымыслена. Она реальна для всех этих людей и важна, потому что если бы не Новый год, отец бы мог смилостивиться, хотя бы снизойти до попытки понимания. И не было бы тех слов: "Без магнитофона можешь не возвращаться".

Вагон несется в будущее, к границе года, и все, как туристы, приготовили фотоаппараты и записные книжки: "Ах, как интересно, мы этого еще не видели!" А почему Егор должен ехать с ними? Ему там нечего делать. У него нет фотоаппарата и записной книжки, ему некому сказать: "Смотри, как здесь красиво!" Ему даже показалось, что если подождать, пока все выйдут, а самому остаться, то можно вырваться из этого проклятого обязательного движения к следующему году — как вагону, который отцепили от поезда и забыли на запасном пути. Он помедлил — все уже вышли, унося тревогу, ожидание и нетерпение, — но тут механический голос произнес: "Просьба освободить вагоны. Поезд дальше не пойдет", в окно заглянула дежурная в красной шапочке, помахала ему — чего же ты, все спешат...

Егор покорно вышел и побрел к эскалатору. Вдруг родилась надежда, что наверху прорвет подземную реку и голубой холодный поток рванет к туннелям, сметая всех вниз, первым делом его самого, — и тогда можно будет не возвращаться домой.

Даже если не погибнешь, можно будет сказать, что магнитофон унесло потоком в глубины Земли. Отец тогда скажет: "Бог с ним, с магнитофоном, главное — ты выкарабкался!"

Подземная река в тот день не прорвалась. И ничто не помешало Егору подняться наверх.

В вестибюле у телефонов-автоматов, у стены, облицованной желтой, веселенькой плиткой, стояла худенькая девочка лет десяти. На ней было тонкое, перешитое, затертое на рукавах и животе сиротское клетчатое пальтишко. Из-под повязанного по-взрослому платка выбивались прямые темные волосы, тонкие брови были высоко подняты.

Девочка стояла прямо, напряженно, готовая побегать навстречу. Она ждала кого-то, и ее не замечали те, кто спешил веселиться, — им не хотелось, да и некогда было ощутить ее одиночество и тщетное ожидание. И Егор понял, что девочка — единственный человек, который, как и он, не принадлежит празднику и не спешит пересечь границу. Он хотел было подойти к ней, но, конечно, этого не сделал. Что ты скажешь ребенку — только испугаешь.

Было десять минут двенадцатого.

До дома — шесть минут. Тысячи раз измерено, проверено, испытано за шестнадцать лет жизни. Шесть минут он растянул минут в пятнадцать. Еще пять минут простоял на дворе, глядя на мелькание теней в своих окнах — уже гости съехались, собирают на стол, мать беспокоится — не из-за него, а потому, что он не купил хлеба, а как скажешь гостям, что нет хлеба, не пойдешь же к соседям в новогоднюю ночь занимать три батона. А отец уже в который раз спрашивает, словно именно мать где-то прячет Егора: "Интересно, как ты намереваешься провести праздник? Вообще без музыки?" Словно музыка — какой-то документ, паспорт, с которым пускают за ту границу. В глубине души Егор допускал: мать могла решить, что он попал под машину, и заставляет отца звонить в милицию. Права на беспокойство Егор давать родителям не хотел. Даже хуже, если они звонят в милицию, — стоит ему войти в дом, как к негодованию хлебному и магнитофонному присоединится него-

дование за опоздание. Это будет третий и самый непростительный грех: "Ты заставил нас всех волноваться!"

И тогда Егор понял, что никуда он не пойдет. Не перейдет с ними границу. Лучше остаться на дворе, бродить по улицам, что угодно... Но ведь если он не вернется, рухнет праздник не только у родителей, у всех гостей — они будут всю ночь носиться по моргам, пугать звонками приятелей и знакомых... Мстительного чувства Егор не испытывал: загубить им праздник — значит лишиться себя права на жалость к самому себе. Вернуться домой — невозможно. Не вернуться — нельзя. Но как получить отсрочку?

Он отыскал в кармане две копейки, подошел к автомату.

— Сергей? — Хорошо еще, что Сергей сам подошел к телефону. — Это я, Егор. У меня к тебе просьба.

- Ты из дома? Перезвони мне, а то в дверь тарабанят. Гости идут.
- Открой им и возвращайся. Я не из дома.
- Беда какая-нибудь?
- Скорей же.

Мимо автомата прошли Семиреченские. Когда-то они были тетя Нина и дядя Боря. Теперь как-то превратились в Нину и Боря — разница в возрасте стирается. Одно дело, когда им по двадцать три, а тебе три. Другое — когда тебе уже шестнадцать, а им сорока нет.

- Я слушаю, — сказал Сергей.
- Позвони моим, скажи, что я только что от тебя вышел, бегу домой.
- Ты с ума сошел! От меня до тебя больше чем полчаса ехать. Ты что, Новый год хочешь на улице встретить?

В голосе Сергея искренняя тревога. Он такой же, как все. Ему немыслим вариант, при котором твой друг не принимает участия в торжественном переходе границы вместе со всем прогрессивным человечеством.

- Позвони, а то они беспокоятся. Я тебе потом объясню.
- Слушай, что случилось? Это с магнитофоном? Не получилось? — Сергей предлагал поехать вместе. Но это ничего не меняло — Гарика без миномета не проймешь.
- Не получилось. Да ты звони, а то Новый год пропустишь.
- А ты?
- Мне уже все равно.
- Не психуй! Хочешь, приезжай ко мне. Я своих стариков мобилизую тебе в поддержку.

Егор бросил трубку.

...Без двадцати двенадцать. Окна отсюда не видны, надо выйти из автомата и пройти до конца заснеженного газона. Егор нашел еще две копейки. Сначала надо перезвонить Сергею.

Было занято. С третьего раза пробился.

- Ну что?
- Твоя мамаша волнуется. Собиралась уже в милицию звонить. Ты вообще — псих или как?
- Спасибо, Сережка. Я пошел.

— И поскорее. В новогоднюю ночь легче получить индульгенцию, чем в другой день. Так что бросайся им в ноги, может, поймут. Послушайся моего мудрого совета.

— С наступающим!

Щелкнул рычаг. Длинный гудок.

А что дальше?

А впрочем, известно, что дальше. Надо подняться на верхний этаж. Там площадка перед чердаком, иногда там целуются пришлые парочки. Вряд ли кому придет в голову забираться туда в новогоднюю ночь.

У лифта никого не было — рука сама нажала на кнопку пятого этажа, пришлось жать на "стоп", и снова — уже на девятый.

Егор вышел из лифта. Четыре квартиры и железная лестница наверх. Он задержался на площадке, стараясь среди торопливых — последние минуты — звуков угадать те, что доносились с пятого этажа. А зачем? Он никому не нужен. Даже Сергею, который уже, наверное, забыл о его существовании.

Егор не пошел наверх, на чердак. Он начал спускаться по лестнице. Восьмой этаж, седьмой... Этажом ниже остановился лифт, застучали запыхавшиеся шаги — звонок в дверь — торопливый и нервный, дверь открывается и на всю лестницу — переполох голосов:

— Успели все-таки! Какое счастье! Успели!

Они-то успели. Теперь поедут со всеми вместе. Что ж, если это кажется кому-то счастьем...

Егор подождал, пока дверь захлопнулась и отрезала звуки, затем пошел дальше. Нет, он не думал, что войдет к себе — только до двери и тут же обратно. Он не принимал решений — какая-то тупость овладела им, ноги шли, вот он им и подчинялся.

А ноги принесли к своей двери. Он остановился. Ничего не было слышно — только гул голосов. Гул показался Егору тревожным — может, они все-таки решили не справлять без него? Может, они — бывают же движения души — поняли, как ему гадко?

Рука сама достала из кармана ключ, сунула его в скважину, повернула. Дверь отворилась. В прихожей было много пальто и шуб — они перегрузили вешалку и лежали грудой на стуле, а внизу, как в магазине, в ряд женские сапоги.

Теперь можно было различить отдельные голоса. О нем ли?

Голос Бори Семиреченского:

— Ну, у всех налито? Артур, телевизор включил?

— Включил.

Голос отца:

— А то упустим!

А мать? Вот и ее голос:

— Боря, положи себе рыбки, ты имеешь манеру не закусывать.

Вот о чем она думает в эту минуту! Из телевизора донесся ровный морской шум Красной площади.

Егор так и стоял с ключом в руке. Никто не почувствовал, что он здесь. И при чем чувства? Они сейчас подходят к границе. Вперед

замечательные туристские дали, в которых они отлично обойдутся и без него. Все обойдутся без него. Весь мир.

И тогда он понял, что может не идти с ними. Надо повернуться, выйти из двери и остаться на платформе, отпустив поезд. Пусть едут, будьте счастливы...

Били куранты. Он помедлил, дожидаясь первого удара часов.

Раз... два...

Егор осторожно затворил за собой дверь. Щелкнул замок.

Он медленно пошел вниз по лестнице, зная, что к тому времени, как он достигнет первого этажа, часы перестанут бить и диктор задумчиво скажет: "С Новым годом, товарищи!"

Он не услышал последнего удара и этих слов. В доме было тихо. Словно шум, запахи, звуки музыки за дверями, удаляясь и тая, уехали за пограничный столб, а он, Егор, остался на опустевшем перроне с неуверенно поднятой рукой — все равно никто уже не глядит из окон вагона.

Снег стоял за те минуты, пока Егор бродил по лестнице. Было не очень холодно, как ночью в сентябре, и асфальт был серым, чуть влажным.

И была не ночь. И не день. Небо стало серым, его заволокло тяжелыми беспросветными тучами.

И еще: ни в одном из окон дома не горел свет. Окна казались слепыми, стекла не блестели. Никто в этом доме не жил.

Это не удивило Егора. Было удовлетворение. Удалось! Ему удалось. Он этого, кажется, хотел?

Потом возникло удивление. Он, разумеется, никогда не задумывался, каково оказаться вне человечества, одному по эту сторону границы, но все равно удивился тому, что в прошлом году остались дома, асфальт, небо — какие-то признаки обыкновенной жизни. А как должно было быть? Впрочем, ничего удивительного нет. Дома ведь не движутся сквозь время вместе с людьми — они и в прошлом и в будущем. А животные? А растения?

На второй вопрос ответ нашелся сразу. Деревья, чахлые саженцы, посаженные в прошлом году посреди двора, исчезли. Лишь одно из них, что засохло еще осенью, осталось над покосившейся скамейкой.

Тогда пришло любопытство.

А что дома? Подняться наверх и поглядеть?

Почему-то не хотелось. Не то чтобы страшно, но не хотелось. Улица — ни к чему не обязывающее безликое место. А дома, даже если там никого нет, надо встречаться с чем-то, принадлежавшим тебе.

Егор вышел из ворот.

Улица была пуста, как бывает в предрассветный час, весной или осенью, в непогоду. Нет еще троллейбусов и дворников, а запоздавшие пешеходы добрались до дому. И легли спать. Егор даже улыбнулся, потому что пешеходы не легли спать — а лягут завтра, в следующем году.

Вместо сквера по ту сторону улицы была серая пустошь, через нее тянулись в два ряда скамейки.

Егор подошел к скамейке, пощупал рукой ее холодную, чуть влажную спинку — вдруг ее на самом деле нет? Но скамейка была. Можно даже сесть на нее.

Егор сел. И понял, что за последние несколько минут он устал так, словно весь день таскал мешки на овощной базе.

Ты живешь шестнадцать лет в обыкновенном мире. Ты точно знаешь, что чудес не бывает и если летающие тарелочки где-нибудь приземляются, то, конечно же, не на твоём дворе. В книгах brave капитаны летают на Луну или сражаются с пиратами. В жизни ты получаешь пару за сочинение и отец решает, что это замечательный предлог, чтобы отказаться от своего обещания купить тебе велосипед. Если бы ты прочел где-нибудь о молодом человеке Е., который не захотел идти со всем человечеством в следующий год, потому что у него были сложные отношения с родителями и неким Гариком, ты бы улыбнулся и вернее всего отложил в сторону такой рассказ, потому что к фантастике в отличие от многих других подростков ты совершенно равнодушен. И вот тебе на!

Егору захотелось зажмуриться, и он зажмурился. Потом потер зажмуренные глаза. Потом, дернув головой, резко открыл их...

Вокруг была та же серая пустота, беззвучная и оттого вязкая и тяжёлая.

Сейчас я крикну, сказал себе Егор, словно угрожал кому-то. Он попытался крикнуть, но получился шепот, потому что нельзя кричать в такой пустоте. Вместо этого Егор сильно ударил кулаком по мокрой скамейке, и кулаку стало больно. Оставалась последняя надежда, что все происходящее — временное умопомешательство, психоз. Но и на это было мало надежды — сумасшедшие никогда не знают, что они сумасшедшие.

Значит, чудеса бывают, значит, мир совсем не такой простой, как на уроке обществоведения, и надо потерпеть, пока он вернется в свои границы, — так попавший в наводнение человек отсиживается на крыше дома.

Это обязательно кончится, сказал себе Егор. Это скоро кончится. Только не надо психовать. Я совершенно спокоен. И считаю до ста и поднимаюсь со скамейки.

Егор досчитал до пятидесяти, и ему надоело сидеть и считать.

Он поглядел на часы. Часы стояли на двенадцати. Стояли. Хотя утрон он заводил их. Егор покрутил завод до упора. Но часы не пошли. Егор потряс в воздухе рукой. Пустое дело.

Время остановилось, потому что его нет и часам нечего мерять.

Все это не сон. Значит, здесь придется остаться, жить, есть, спать, просыпаться... и одному? Запас злорадства, какой-то гордости от того, что можно, оказывается, уйти от всех, испарялся. И стало неудобно. Вернее, страшно.

Егор вскочил — ему показалось, что-то ползет между дальними скамейками. Нет, это поднявшийся ветерок гнал по земле тряпку.

Страшно. Словно в ночном лесу. Любому человеку боится черного леса и не может объяснить почему. Грабителей нет в этом лесу. Волки давно

перевелись. Леших и привидений не бывает. Но страшно. Это, наверно, самое древнее из чувств, сохранившихся в человеке с тех времен, когда лес был смертельно опасен, ночами по нему бродили пещерные волки и тигры, а человек был перед ним беззащитен.

Но ведь лес кончается. Из него можно убежать. И там, за краем леса, обязательно будет деревня или просто домик, в котором живут люди. А здесь?

...Скамейки отлетали назад, как столбы за окнами поезда. Егор поскользнулся, чуть не упал, выбегая на мокрую мостовую, — он бежал к метро, словно там должна была быть какая-то избушка, должен кончиться лес. От того, что в городе не было ни единого звука, ни крика птицы, ни звона трамвая, ни далекого гудка, — звук, топот, грохот шагов Егора заполняли истосковавшийся по звукам воздух, который пережевывал их, смаковал, выпускал наружу, гонял над крышами, дробил на части и снова кидал в уши Егору. Егор замедлил шаги, старался идти тише, но ничего из этого не вышло — воздух чутко прислушивался и не упускал ни единого звука.

Деревья и кусты вокруг метро "Университет" тоже исчезли, оставив темную землю, полосы асфальта и окруженную киосками асфальтовую площадку. Киоски нарушили безжизненность города, и Егор поспешил к ним, вспоминая на бегу, что раньше было в ближнем из них. Мороженое? Правильно, мороженое. Странно, что совсем не хочется есть... Киоск был пуст, словно приготовлен к ремонту.

В следующем, цветочном, стояла пустая ваза, в журнальном висели выцветшие бумажки и старый номер журнала "Пчеловодство", внутри киоска было темно, свет не достигал туда, и можно было только угадывать, что в глубине — вороха бумаги, неразобранные стопки газет. В кондитерском обнаружилась полуоткрытая коробка из-под круглого торта, совсем пустая, даже без крошек, с жирным темным пятном от крема на стенке.

Как удалось некоторым случайным вещам вывалиться из потока времени и очутиться в этой пустоте? Кто последним держал в руке эту коробку?

Егор стоял, разглядывая коробку, как загадку, которую требовалось решить, и от этого зависело, перейдет ли он в следующий класс... И тут он услышал далекие четкие шаги — они доносились со стороны проспекта, оттуда, где заворачивались кольцом трамвайные пути.

Егор не испугался этих шагов, но и не испытал радости: как древний путник в лесу, он понял, что нельзя бездумно убежать прочь. Важнее, не выдавая себя, узнать, кто идет.

У дальнего угла, за трамвайными путями шел человек. Вот-вот он скроется за углом. Егору захотелось его остановить...

— Эй, погодите!

Но крик оказался слабым, собственный голос обманул Егора. Человек не услышал.

— Эй! — снова крикнул Егор уже на бегу. Он споткнулся о рельс, чуть не упал.

За углом никого. Проспект голый, без деревьев и оттого куда более

широкий, чем раньше, уходил в туман. Может, почудилось.

Тупое разочарование овладело Егором. Как после встречи с Гариком. Также сначала была надежда, а теперь — полное одиночество.

Возвращаясь к метро, Егор пытался представить себе, каким же он был — тот человек? Высокий и худой. А как он был одет? В темное. Пальто? Наверно, пальто.

Еще одна неожиданность: сквозь стекла дверей метро был виден теплый свет.

Егор толкнул дверь, она послушно открылась. В ряд у стены стояли разменные автоматы, напротив — театральный киоск с приклеенными изнутри к стеклу пожелтевшими афишами, за проемом — круглый зал, откуда спускаются эскалаторы. Над залом горел светильник.

Егор прошел внутрь.

У выхода, у телефонно-автоматов, стояла та самая девочка с острым лицом. Из-под повязанного по-взрослому платка торчали темные косички.

Между Егором и девочкой был металлический барьер.

— Ты чего здесь стоишь? — спросил Егор.

Девочка поглядела на него и не ответила. Она обратила взгляд к пустому, замершему, уходящему в темную глубину эскалатору, словно надеялась, что он снова двинется и привезет к ней того, кого она ждет.

Егор перепрыгнул через барьер и подошел ближе.

— Я когда тебя увидел, — сказал он, — сразу подумал, что тебе Новый год до лампочки.

— Чего? — спросила девочка, не оборачиваясь. Будто Егор ей мешал и она терпеливо дожидалась, когда он уйдет.

— Что ты тоже останешься, — сказал Егор. Он не мог объяснить ей, что рад ее здесь видеть.

Девочка пожала плечами. Клетчатое пальто было ей коротко, а ноги — как палки. Лампа над головами начала тускнеть, словно кто-то вспомнил, что пора выключать свет.

— Больше никто уже не придет, — сказал Егор.

— Да?

— Ты чего же стоишь? Пойдем отсюда. Здесь темно.

— Я не пойду.

— Глупая, там же никого нет.

— Он обещал.

— И метро уже не работает, — сказал Егор терпеливо. Здесь был человек, который слабее его, о котором надо будет заботиться, а это важно в мире, в котором все неизвестно.

Лампа часто замигала и погасла. Лишь слабый свет проникал снаружи сквозь стеклянные двери. Девочка сделала несколько шагов вперед, словно хотела заглянуть вниз, Егор не мешал ей, но она остановилась перед непроницаемой темнотой и вдруг спросила:

— Ты где?

— Здесь я, — ответил Егор. — Пошли.

Они вышли в серый воздух. Девочка шла рядом, вцепившись Егору в рукав пальто, словно очнулась и испугалась.



Рисунки Марины ПИНКИСЕВИЧ

- Светает уже, — сказала она.
- Здесь всегда так, — сказал Егор, хоть и не был в этом уверен.
- Светает, — упрямо повторила девочка.
- Да ты посмотри, — сказал Егор, — снега-то нет.
- Снега нет.

Они стояли у входа в метро. Впереди был виден пустой вагон трамвая. Трамвай был старый, такой Егор видел в кино про войну.

- Как тебя зовут? — спросил Егор.
- Люська, — сказала девочка. — Люська Тихонова.

Она поглядела на Егора, и он увидел, какие у нее высокие, тонкие и правильные, словно циркулем наведенные брови. Брови поехали вверх.

- Ты чего? — спросил Егор.
- Ну, я пошла, — сказала Люська Тихонова.
- Куда ты пойдешь?

- Домой, — сказала она, но после слова был маленький знак вопроса.
- Не ходи, — сказал Егор. — Я думаю, что здесь никого нет. Только

ты и я.

Брови опять убежали наверх. Зрачки у Люськи были светлые и прозрачные. Она была готова поверить ему.

— Ты не хотела со всеми в Новый год идти, — сказал Егор. Он не спрашивал, а объяснял.

Люська кивнула.

- Вот все ушли, а ты осталась.

Люська снова кивнула, словно тысячу раз такое проделывала. А на самом деле ничего не поняла, потому что сказала:

- Ну, я пошла. Домой.
- Ты далеко живешь? — спросил Егор.
- За углом, вон в том доме.
- Пойдем вместе, сама посмотришь, что никого нет.

Люська быстро пошла к трамвайным путям. Егор вспомнил, что там недавно был человек — тогда за себя он не так боялся, — он мог бы убежать. Но теперь с ним девчонка. Егор оглянулся, палку бы найти, но ничего не увидел.

Люська вдруг замерла, глядя вверх.

- Это твои окна?
- Спят они, — сказала Люська.

— Ну, ты идешь?

— Нет.

— Испугалась?

— Не хочу.

— Слушай, я тебе русским языком говорю — никого там нет. И вообще в Москве никого нет. Все ушли.

— Куда ушли? — брови побежали вверх.

— Вперед ушли, в следующий год.

— А мы?

— А мы остались.

— И Константина нет?

— Какой Константин?

— Это ужасный человек! — Брови изобразили крайнюю степень удивления: как можно не знать Константина? — Он у нас живет. Раньше приходил, а теперь совсем живет...

В тумане, затянувшем подворотню, возникла странная, даже зловещая фигура — Егор не сразу догадался, что этого человека он видел несколько минут назад.

Сразу бросилось в глаза, что он нес в руке тяжелый черный лом. Потом Егор увидел, как странно этот человек одет — в распахнутое черное пальто без одного рукава, вместо него оранжевый рукав рубашки. И уж в последнюю очередь обозначилось лицо — мятое, серое, все висит: нижняя губа, щеки и даже нос — дай им волю, вообще бы сползли на грудь.

Егор попытался закрыть собой Люську, а Люська не усмотрела в человеке никакой опасности, укоризненно сказала:

— А сам говорил — никого нету!

Человеку было тяжело волочить лом, он остановился, закинул его на плечо. Только тут Егор увидел, что человек бос.

— Пыркин, — спросила Люська, — ты куда пошел?

— Люська? Помнишь меня?

— Как же не помнить — ты мне конфеты давал.

— Не помню, — сказал Пыркин и пошел мимо.

Лом скашивал его в сторону, плечо задралось.

Егор с Люской невольно пошли следом, Пыркин вдруг замер, поглядел на них и спросил:

— Собачонку мою не видали? Собачонка моя пропала. Жулик пропал. Не иначе как убудки сманили.

И тут же поспешил прочь, словно не нуждался в ответе.

— Ты его знаешь? — спросил Егор.

— Я всех во дворе знаю, — ответила Люська. — Он у нас в доме жил. В прошлом году пропал. Как раз под Новый год. С милицией искали, собаку приводили, овчарку, честное слово, черная совсем, а брюхо серое. Не веришь?

— И не нашли?

Вопрос был глупый. Если он здесь, конечно, не нашли.

— Не нашли. Он же алкоголик. Лечился даже. Мать говорила, счастье, что его от нас забрали.

— Ты говорила, что он сам пропал.

— Как будто пропал, а некоторые думали, что забрали. С придурью он.

— Так он что же, уже целый год здесь?

— Он здесь всегда жил, — Люська не поняла вопроса.

Издали, набирая силу, словно надвигающийся гром, пошел грохот и звон.

— Ой, это Пыркин. Всегда так, напьется и хулиганит, — сказала Люська. — Ужасный человек.

Пыркина увидели на другой стороне улицы, где на первом этаже

большого желтого дома раньше был продовольственный магазин. Громоздкий дом стоял в глубине, за сквером, теперь сквер пропал и длинная черная фигура Пыркина видна была издалека. Он снова поднял лом и, как копьё, вонзил его в витрину. Витрина вдребезги. Грохот покотился над улицей и угас вдали — без эха, без отзвука.

— Ой, что будет, что будет, — приговаривала Люська, топоча сзади Егора. — Опять в милицию загремит. Такая витрина, наверно, тысячу рублей стоит...

В Люське сочеталась девчонка, наивная и беззащитная, с трезвой старушкой, которая все уже видела и все знает.

Когда они подбежали к магазину, Пыркина на улице не было. В груди стекла валялся лом. Пирамиды консервных банок в витрине были разрушены, а изнутри, из темноты, доносилось шевеление и треск.

— Пыркин, вылазь, — сказала Люська строго. — Милиция приедет. Пыркин отозвался не сразу.

— Не приедет, — сказал он. — Рад был бы увидеть ихнюю шинель. Нет здесь никакой милиции.

Он показался в витрине, словно портрет в раме. К груди он прижимал ящик, из которого торчали горлышки бутылок.

Поглядев на ребят, он развернулся задом и, опустив босую ногу, старался нащупать ею асфальт.

— Обрежешься, — сказала Люська. — Тут же стекла.

— Нет, — сказал Пыркин, — не обращай внимания.

Стекла захрустели под ступней.

— Пошли, — сказала Люська Егору, — ты его не знаешь. Обязательно милиция приедет.

— Да сколько тебе говорить! — воскликнул Пыркин, опуская ящик на кучу стекла. — Нет здесь милиции, и вообще неизвестно, где мы пребываем, вернее всего, за грехи на том свете.

Пыркин вытащил из ящика бутылку водки, подцепил желтыми зубами блестящую крышечку и выплюнул на мостовую.

— Ну, с праздничком, — сказал он и опрокинул бутылку над раскрытым ртом.

Водка лилась туда, словно в воронку, но, наполнив рот, она хлынула по подбородку на черное пальто.

Пыркин с отвращением фыркнул, остатки водки фонтаном брызнули изо рта.

Он забросил бутылку за скамейку.

— Вот так всегда, не выпьешь, не закусишь.

Он наступил на грудку стекла, и осколки расплзлись из-под него в разные стороны, протянул грязную руку к ящику, вытащил еще одну бутылку, открыл и начал медленно лить водку на асфальт.

— Чепуха и сплошной обман.

Он запахнул пальто, на котором не было ни одной пуговицы.

— А вы-то чего? — спросил он. — Пошли со мной. Чего вам здесь в пустоте гулять.

Егор с Люськой переглянулись.

— Если ты думаешь, что у тебя кто дома есть, — добавил Пыркин, —

то ошибаешься. Никого у тебя дома нет.

— А я и не хотела туда идти, — сказала Люська, срываясь с места и спеша за Пыркиным. — Я туда и не пойду. Там Константин. Я к отцу поеду.

— Никуда ты не поедешь, — сказал Пыркин.

Егор шел сзади. Непонятно, что делать дальше. Навалилась экзаменационная тупость, когда не знаешь билета и нет ни одной мысли в голове.

Подожли к перекрестку. Светофор смотрел черными, пустыми глазами.

— Не оглядывайтесь, — сказал Пыркин. — Нет здесь троллейбусов.

— А сколько сейчас времени? — спросил Егор, чтобы спросить чего-нибудь — уж очень было тихо, только тяжелое дыхание Пыркина да стук Люськиных каблучков.

— Парень взрослый, в армию скоро, а не понял, — сказал Пыркин.

Егор кивнул, он понял.

— А мы вас с милицией искали, — сказала Люська. — Собаку привозили, черную овчарку.

— У меня тоже собачка была, Жулик, — сказал Пыркин. — Сманили.

За новым цирком до самой реки тянулась обширная и пустая равнина. Посреди нее две избы, маленькие окошки выбиты, вокруг утоптанно, словно избы поставлены для декорации. Пыркин немного прихрамывал, горлышко бутылки высовывалось из кармана пальто. Люська семенила рядом. Егор несколько раз шурился, чтобы разогнать это видение, но открывал глаза — и снова в десяти шагах черное пальто Пыркина с оранжевым рукавом рубашки, босые серые пятки. А рядом клетчатое пальтишко Люськи, стоптанные каблучки ее ботинок. Что сейчас дома творится — подумать страшно...

Дорога нырнула вниз, отлого прорезая обрыв к реке, — они пошли над туннелем, забирая влево.

— Нам немного осталось, — сказал Пыркин, поджидая Егора. — Можно сказать, пустяки, но большие опасности. Вон там, где эскалатор вниз был, — они и сидят. Подстерегают. Мы их обойдем. Ясно?

— Кого обходить? — спросил Егор.

— Этих, — коротко ответил Пыркин. Он вынул из кармана бутылку и взял ее, как гранату, за горлышко, — без оружия нельзя. Вообще здесь даже спокойней, чем у нас.

Он прижал палец к губам, чтобы молчали.

Люська вдруг раскашлялась. Пыркин весь сжался, щеки порозовели от негодования, он замахал бутылкой и зашипел как змея.

И тут по краю откоса пробежала серая, почти невидная, быстрая тень, замерла и исчезла.

— Все, — сказал Пыркин. — Мы обнаружены.

— Это фашисты? — спросила Люська.

— Хуже, — сказал Пыркин. — Ну, будем прорываться или отступим?

Бутылка дрожала в руке.

— Будут жертвы, ой, будут жертвы, — сказал Пыркин. — Детей жалко, — он показал грязным пальцем на Люську.

— А зачем мы туда идем? — спросил Егор. — Вы же ничего не объясняете.

— А ты куда хотел? — удивился Пыркин. — Там свои.

Три или четыре тени выглянули на секунду из-за откоса.

— Поджидают, — заявил Пыркин. — Поджидают нас, а это при-
скажбно, потому что они перекрыли все подходы. И Жулика нет. А то
бы помог.

Ребята стояли, не знали, слушаться Пыркина или нет — никакой он
не защитник.

Сзади была серая пустыня с избами. До них уже метров триста.

Пыркин пошел к спуску, бутылка с водкой в отставленной руке.
Люська припустила за ним. Егор тоже пошел, стараясь не отставать.

Они остановились над крутым склоном к Москве-реке.

Склон был голым, бурым. Егор уже был готов к тому, что не увидит
здесь деревьев, но все равно удивительно, насколько изменился вид.
Лишь несколько голых деревьев видны на всей широкой излучине реки
от метромоста до окружной дороги. Вода в реке была темной.

Вниз вела тропинка.

— Самый короткий путь, — сказал Пыркин. — Побежали.

Никого не было видно.

Пыркин бросился вниз, к реке, мелко перебирая пятками и тормозя
в крутых местах свободной рукой.

Это было похоже на детскую игру в войну.

Минуту или две Егор ничего не видел — думал только, как бы
удержаться, не покатиться кубарем и не сломать шею — впереди мель-
кало клетчатое пальтишко, ноги заняли от слалома... И вдруг этот полет
прервался. Егор врезался в Люську, крепко схватил ее, чтобы не свалить
вниз. Еще ниже на земле сидел Пыркин, высоко подняв руку с бутылкой.

— Долой! — кричал он. — Уничтожу!

Призраки поджидали людей здесь, посреди спуска, когда некуда де-
таться: наверх и вниз метров на сто такой же крутой склон — только здесь
площадка, окруженная тремя старыми пнями.

Они были призраками, но не театральными, где все как у людей,
только загробный голос. Их даже нельзя сравнить с людьми — тени
чего-то, детские наброски, кусочки студня...

Они стояли полукругом молча, и хотя лиц у них не было, казалось,
что улыбались.

Люська уткнулась лицом в куртку Егора, чтобы не видеть.

— На прорыв! — закричал вдруг Пыркин, метнул бутылку перед
собой, она вдребезги, водка темным пятном отметила землю, толпа
призраков отшатнулась было — скорее от неожиданности, чем от
страха, и тут же придвинулась еще на шаг.

Егор попытался отступить, прижимая к груди Люську, но, оглянув-
шись, увидел, что сзади уже тоже собирались призраки, подпрыгивали,
переливались, покачивались, сливаясь воедино, делились снова...

И тут раздался очень громкий в этом безмолвии собачий лай.

Сверху, разорвав цепь призраков, несся черный, маленький, лохматый пес.

Пыркин поднялся с земли.

— Подкрепления прибыли, — сказал он. — Где тебя, сукин сын, носило?

Призраки исчезли. Растаяли в тумане. Словно их и не было.

Пес прыгал, крутился среди людей, показывая радость от встречи с хозяином, от знакомства с Люськой и Егором.

— Не выносят они собачьего духа, вот ведь нечисть какая. А он, стервец, чувствует. Как увидит, сразу гонять начинает.

— Кто они были? — спросила Люська, чуть живая от страха.

— А бог их знает, — сказал Пыркин равнодушно, словно забыл о приключении. Он потянул носом, принялся к слабому спиртовому запаху, шедшему от пня, тяжело вздохнул и побрел вниз, осторожно переставляя ноги, пес за ним.

— А почему вы их боялись?

— Они электричеством бьются, а потом высасывают.

Егор вел Люську за руку, она все оглядывалась назад, ей казалось, что призраки идут сзади. Егор подумал, хорошо, что она рядом и есть кого защищать.

Они вышли на асфальтовую дорогу, которая наискось резала склон. Пыркин прибавил шагу, Жулик вернулся, проверил, идут ли, и снова убежал. Он был здесь свой, ничего не боялся.

Минут через пять они оказались на террасе, которая выходила на набережную. Справа скелетом кузнечика тянулся метромост, за рекой из дымки поднимались кубики домов.

— Эй! — позвал Пыркин, и его голос расплылся по террасе и заглох где-то неподалеку. — Принимайте гостей.

В дальнем конце террасы, у обрыва, раньше скрытого деревьями, а теперь голого, чернела ниша, а перед ней в сером сумраке светил слабый огонек костра. Рядом кто-то стоял.

Пыркин затрусил к костру, махая руками, рукав светился, словно одна рука у него была схвачена огнем. Ребята шли медленнее, а Жулик остался с ними, чтобы не робели.

У костра стояла очень толстая завитая женщина в лыжном костюме, поверх которого висели в несколько рядов бусы. Пальцы ее рук, словно перетянутые ниточками на суставах, были унизаны кольцами, в которых отражались отблески пламени.

— Гляди-ка, — сказала женщина басом, — молодежь пришла.

— Смена и надежда наша. — Второй человек полулежал на куче одеял. — Мы вас давно поджидаем...

Человек был облачен в остатки черного камзола.

— Подходите, не бойтесь, — сказала толстуха. — Чего уж, все свои.

— Это соседка моя, — сказал Пыркин, ткнув пальцем в Люську. Он нагнулся над костром и протянул руки вперед, потирая ладони, словно замерз, но это было неправдой, как и охота за водкой в магазине, — никакого холода здесь не было. Тепла тоже не было.

— Что, — спросил человек в камзоле, что лежал у костра, — ублюдки напали?

У него было бледное, острое лицо с очень черными бровями и длинными, по плечам космами, волосы.

— Жулик разогнал, — сказал Пыркин. — Я-то что, я ничего, ребята перепугались.

— Кто-нибудь пускай принесет дров, — послышался голос из глубины ниши. Голос был надтреснутый, дрожащий, но привыкший командовать.

— Новенькие у нас, — хрипло сказал человек в камзоле.

— Слышу, — ответил голос. — Сходи, Де-Воляй, за дровами. Почему я должен повторять?

— Да все вокруг обобрали. Далеко идти придется.

Человек поднялся. В нем сочетались заторможенность и суетливость. Толстуха кружила, разглядывала Егора, как статую. Из ниши вышел широкоплечий карлик в черном костюме поверх вышитой косоворотки. Он держал в руке зеркальце, какие бывают в женских сумочках, гляделся в него и причесывался массажной щеткой.

Он сказал толстухе:

— Удивительное дело — не должен бы, а лысею.

— Это вам только кажется, — сказала женщина тягуче и ласково. — Вам любой молодой позавидует. Кудри-то, кудри...

Человек со щеткой поморщился. Кудрей у него не было — жидкие, редкие волосы лежали вплотную к голове.

У него было гладкое, но очень старое лицо. Лицо молодого человека и древнего старика. Молодой старичок.

Лениво, словно избалованный, капризный деспот, молодой старичок кинул щетку в сторону. Егор невольно проследил за ее полетом. Щетка упала в высокую, по пояс, кучу щеток, гребней, расчесок.

Старичок сказал:

— Каждый имеет право на слабость. У меня она безобидная. Я никогда не причесываюсь два раза одной щеткой.

Он шелкнул пальцами. Толстуха метнулась в темноту и вытащила из ниши потертое низкое кресло с вытравленной на спинке лилией. Карлик подпрыгнул, не оборачиваясь, и опустился в него. Поерзал задом, поболтал ногами в блестящих сапогах.

— Давайте знакомиться, — сказал он. — Приятно видеть в нашем обществе новые лица. Признаться, я ждал вас, очень ждал. Нужна нам молодая, энергичная смена, товарищи.

Толстый палец уперся в грудь Егору.

— Егор Чехонин, Георгий, — сказал Егор послушно.

— А ты, крошка?

— Меня Люськой зовут.

Егор почувствовал, как ее теплые пальцы отыскивали его руку.

Пыркин грузно опустился на одеяло и стал похож на грудку тряпья.

— Ну что ж, — сказал молодой старичок, — а меня зовут здесь...

— Вождем, — подсказала толстуха. — Это наш вождь.

Молодой старичок укоризненно покачал головой, словно толстуха была расшалившейся девочкой.

— В этом прозвище, — сказал он, — есть некоторая доля иронии. Не всем это понятно. А вам?

По берегу брела тонкая поникшая фигура. Сначала Егор решил было, что возвращается человек, посланный за дровами, но нет — фигура женская.

— Я не могу даже устроить ужин в честь вашего приезда. Здесь нет еды...

— Они уже знают, — зашевелился Пыркин. — Я при них водку употреблял.

Вождь наклонил голову, терпеливо пережидая, а когда Пыркин умолк, продолжал:

— И тем не менее у нас праздник, Новый год. И для каждого из нас — юбилей.

— Как вы только догадываетесь, ума не приложу, — подивилась толстуха. Она достала из кармана лыжной куртки сережки с жемчугом, протянула Люське. — Это тебе подарок, от меня.

— Спасибо, не надо, — сказала Люська, — у меня уши непроколотые.

— Мне дана способность, — сказал вождь, — измерять время, которого нет. Я знаю, когда ждать гостей, а когда недругов. И я рад, что это именно вы. В прошлом году мы получили сомнительный подарок — Пыркина.

Пыркин поднял голову, подмигнул и сказал:

— А что? Не нравится, отправляй обратно, а то...

И замер, словно забыл, что надо говорить дальше.

— Помолчи, — недовольно поморщился вождь.

Женская фигура приблизилась. Это была девушка в короткой распахнутой шубке. Волосы выбивались из-под синего платка, лежали прядями по плечам, ниспадали на спину и на грудь.

— Иди к нам! — крикнула толстуха. — У нас праздник, кадровое пополнение.

Девушка прошла мимо, не обернувшись.

— Долго не протянет, — сказал вождь.

— А здесь умирают? — спросил Егор.

— Вопрос, не лишенный смысла, — сказал вождь. — Мне приятно встретить живой ум. Я лично беру над тобой шефство.

Это было как в театре. Вождь играл роль, Пыркин играл роль, теперь они хотели, чтобы и Егор играл.

Люська отпустила его руку. Она стояла, глядя на удаляющуюся девушку.

— Здесь можно умереть, — сказал вождь. — К тебе это не относится. Причина, приведшая тебя сюда, вернее всего пустяковая. — Губы вождя улыбнулись, глаза не умели улыбаться. — Такие, как ты, не топят, они, как остынут, опомнятся, начинают предпринимать тщетные попытки покинуть их пост и вернуться туда. — Вождь показал пальцем в гору. — Хотя всем известно, что настоящий мир здесь, а там только сон, видимость!

— А чего, — сказал Пыркин. — Бросайся в речку и потонешь. Как в аптеке. Тогда узнаешь, где видимость, а где напиток можно рабочему человеку.

Фигурка девушки уже скрылась во мгле. Навстречу ей брел человек, что ходил за сучьями. Он волок деревянную голубую дверь. Приостановился, что-то сказал девушке, та не ответила.

— А почему она здесь? — спросила Люська.

— Она потеряла любимого человека, — ответил вождь. — За несколько часов до Нового года.

Он обернулся к толстухе.

— Когда это было, Марта?

— Давно, — сказала Марта. — И все ходит, ходит. Хоть бы утопилась поскорее.

Де-Воляй подтащил дверь к костру.

— Я ее к нам позвал, — сказал он улыбаясь. — А она молчит. Какая-то неполноценная.

— Молодец, Де-Воляй, — сказал вождь. — Дров надолго хватит.

Де-Воляй встал на край двери и потянул на себя другой конец, чтобы сломать, но не одолел доску. Егор стал помогать ему.

— Что-то сегодня ублюдки суетятся, — сказал Де-Воляй, убедившись, что Егор справится без него.

— У них тоже прибавление, — сказал вождь.

— Мы его Де-Воляем зовем, — сказал Пыркин, — он про свой аппетит рассказывает. Какие штуки в ресторане жрал.

— Не жрал он в ресторане, — сказала Марта. — Я во всех ресторанах была, никогда его не видала.

— Тебя в такие и не пускали, — огрызнулся Де-Воляй. — Мои рестораны до революции процветали.

Видно, спор был давний, самым спорщикам надоел.

Егор подумал, что если Пыркин здесь уже год, то другие пришли куда раньше.

— Давай по-дружески допросим новенького, — сказал вождь. — Что же тебя привело к нам? Оскорбленное самолюбие? Обида? Несчастье?

Егор пожал плечами. Отсюда, издали, это было уже неважно. Прав был маленький вождь. Если бы знать путь обратно — ушел бы домой. Но он не смел спросить, есть ли такой путь, потому что боялся, что пути нет.

— Как хочешь, — сказал вождь. — Мы тебя не торопим. У нас впереди пожизненное заключение.

Марта громко засмеялась.

— Все равно расскажешь, — сказал Пыркин. — Я, например, сюда вывалился по причине пьянства.

— И добился счастья, — захихикал Де-Воляй. — Пей теперь свои бутылки. Хоть по тыще в день. Желаете коньяк — вот вам коньяк. Хотите ликер из спецбуфета? Будет вам ликер.

— Это кому как, — возразила Марта. — Не тебе решать, кому ликер, а кому коньяк. Будет решение товарища вождя — получишь.

— А я разве чего беру? — сдался Де-Воляй.

Вождь наблюдал за своими товарищами с усмешкой.

— А ты, девочка? — спросил он потом у Люськи. — Ты почему не захотела со всеми в будущий год?

— Я отца ждала, — сказала Люська.

— Она с моего двора, — сказал Пыркин. — Папаша их бросил, а мать нового завела, Константина. Проще треугольника.

— Он бил тебя? — спросила Марта. — Он бил тебя, крошка? Расскажи, как он тебя бил.

Она готова была заплакать.

— Не бил он ее, — сказал Пыркин, — хотя последнее время не знаю. Вообще-то он непьющий.

Люська молчала.

— А отец для тебя, — спросил вождь, — был руководящей силой?

— Пустой человек ее папаша, — сказал Пыркин. — Без всякого характера.

— Он обещал приехать. Я ему на работу звонила, — сказала Люська.

— Бедное дитя, — сказала Марта. — Ты будешь жить со мной. У меня отдельная трехкомнатная квартира, я ее сама обставила. Ты не представляешь! Все удобства.

— На кой ляд тебе все удобства? — сказал Пыркин. — Если ты ими не пользуешься?

— Она в этих, простите, удобствах устраивает музыкальные вечера, — сказал Де-Воляй. — Мяукает, как кошка.

Все засмеялись.

— Подлец! — закричала Марта. — Пошляк!

Де-Воляй устроился на одеялах и правдоподобно задремал, даже стал похрапывать.

— Удивительный аттракцион, — сказал Пыркин, — до сих пор удивляюсь. Вот дрыхнет человек, которому ничего в жизни не нужно. Его отсюда и калачом не выманишь.

Вождь усмехнулся.

— Под моим руководством вверенные мне кадры достигли полного счастья. Они уже все имеют. Какая потребность есть — удовлетворена.

— Только потребностей здесь не бывает, — буркнул Де-Воляй, натягивая на нос рваное одеяло.

— Неправда, — возразил вождь. Улыбка чуть тронула его тонкие губы, когда он изящным движением поднял правую руку и шелкнул пальцами. В ответ на этот жест толстая Марта нырнула в пещеру, вытащила оттуда новенькую щетку для волос. Вождь, простоявший полминуты, пока Марта выполняла его пожелание, с поднятой рукой, тут же начал причесываться. И продолжил свою мысль: — Неправду говорят те, кто утверждает, что в нашем единственном настоящем счастливом мире нет потребностей. Эти люди забывают о главной потребности — потребности жить!

Тут вождь сделал паузу, изогнулся, стараясь подглядеть под одеяло, увидеть лицо Де-Воляя. Это ему не удалось, вождь с остервенением отбросил использованную щетку для волос и тонким голосом завопил:

— Мы поможем скептикам и маловерам сообразить, что жизнь, которую я дал вам однажды, нужно ценить и лелеять! Молчать! Не возражать!

Никто не возражал вождю, а Егору стало скучно и противно, как в



гостях у Гарика. И уж на что они были различными — фарца Гарик и властитель призрачного царства, в котором нет времени, они оказались жутко похожи. Они захватывали право определять жизнь других людей с одной лишь целью — сделать свою жизнь от этого удобнее и теплее. А от уверенности в безнаказанности они получали дополнительное удовольствие, глядя, как другие мучаются, выпрашивают у них магнитофоны или право на жизнь.

— Жалко, что вы, ребята, Федю не застали, — сказал Пыркин. — Вот артист был. Ну прямо Райкин! Все анекдоты знал. Тысячу как минимум. Нет его, и анекдоты мы забыли, а новых выдумать не умеем. Скучно стало.

— Где он сейчас? — быстро спросил Егор. У него вдруг возникла надежда, что этот неизвестный Федя смог вырваться отсюда и вернуться в настоящую жизнь. Ведь если есть путь сюда, может, им известна дорога отсюда? Если Пыркин скажет сейчас, что Федор ушел...

Но Пыркин сказал совсем не то, что хотелось услышать.

— Я и говорю, — произнес он, глядя в костер, — может быть, и зря товарищ вождь его ликвидировал? Скучно стало.

— А я ничего не делаю зря, — сказал вождь, совсем не рассердившись. — Я долго думал. И понял, что своими шутками и анекдотами твой друг Федя подрывал единство нашего народа!

Вождь широким жестом обвел берег, и Егор понял — народ состоит из шести человек, включая их с Люськой.

— А от этого, — продолжал вождь, — возникала опасность, что он подорвет мой авторитет и позовет на нашу землю врагов, которые таятся за холмами и мечтают покорить нас и даже поработить, я не боюсь этого слова.

— А как его убили? — вдруг спросила Люся. — Разве вы умеете?

— Мы умеем, умная девочка, — сказал вождь. — Мы всегда можем помочь человеку, которому здесь не нравится. Или у которого недостойные мысли и замыслы. Марта, покажи!

Марта начала хихикать и вертеть толстыми бедрами, будто собиралась танцевать какой-то восточный танец. Но тут Егор увидел, что ее рука утонула в боковом кармане шаровар старомодного лыжного костюма и шарит там, где-то в районе коленки.

— Смотри, — сказала она наконец.

В руке у нее был пузырек с темной жидкостью.

— Это яд, — сказал вождь. — И сейчас мы его продемонстрируем на примере...

Вождь замолчал и начал медленно поворачиваться на высоких каблуках, останавливая колющий взгляд на всех по очереди. Когда взгляд вождя дотянулся до Егора, тому вдруг стало страшно, как ни разу за весь день, потому что он понял, что власть этого сумасшедшего диктатора — самая настоящая, беспредельная и никто не сможет возразить ему.

Люся прижалась к бедру Егора, и тот обнял ее за плечо, чтобы девочка не боялась.

— Бросьте так глазеть! — сказала строго Люська. — Зачем людей пугаете?

— А здесь людей нет, — ответил вождь. — Здесь привидения. И ты привидение. Поняла?

— Нет, — сказала Люська, — не поняла. И никогда не пойму. И уйду я от вас. Обратно уйду, все лучше, чем на вашем свете.

— Ну как, будем травить? — спросила Марта.

— Спрячь пока, — сказал вождь. — Присаживайтесь к костру поближе, поговорим, вспомним славное прошлое, утрясем планы на будущее. Зачем раздоры, зачем угрозы? Садитесь, садитесь, и ты, Де-Воляй, просыпайся, не время спать.

Марта шустро подвинула кресло поближе к костру, и вождь, не оборачиваясь, вспрыгнул на него.

— Тебе, наверное, кое о чем спросить хочется, — улыбнулся вождь, глядя на Егора. Будто и не было только что угроз.

— А вы давно здесь? — спросил Егор.

— По-разному, — сказал вождь. — Кто как. Например, Де-Воляй сам не знает, когда ему захотелось покинуть человечество. Ты не помнишь?

— Предпочитаю не помнить, — согласился Де-Воляй. — И теперь это уже не играет роли.

— А Марта?

— Марта у нас очень боялась потерять молодость. Чего только не делала.

— Я красивая! — сказала Марта. — Я и сейчас не хуже, чем раньше.

— Ты красавица, ты лапушка наша!

— Она боялась состариться? — спросила Люська.

— Да, я боялась, — сказала Марта. — И мне повезло. Я теперь всегда молодая. И меня вождь любит.

— Люблю, люблю, — сказал вождь. — А если вы хотите спросить, как сюда попал я, то это — государственная тайна. Вот так! Я попал сюда по заданию. Я выполняю особое задание партии и правительства.

— И давно?

— Давно, — отрезал вождь.

— А когда вы его выполните? — спросил Егор.

— Что ты говоришь? — взмахнула толстыми руками Марта. — На кого он нас оставит? Он не может уйти — у него государство на плечах.

— Да, — вздохнул вождь. — Эта женщина права. У меня на плечах государство.

— А есть другие государства? — спросил Егор.

— Все вопросы, вопросы, вопросы... — сказал вождь. — Хватит.

— Есть другие государства, — ответил за него из-под одеяла Де-Воляй. — Только далеко. Есть и большие, и маленькие, есть и без государств — просто живут тени... Сколько лет существует человечество, столько лет в нем водятся люди, которым больше всего на свете хочется уйти, исчезнуть... Каждый год у нас пополнение...

— А говорят, даже война была, — сказал Пыркин. — Там, за Волгой. Их много стало, вот и воевали. Может, врут.

— Врут, — сказал вождь. — Нет никого больше, кроме нас. Никого! Запомнили?

— Запомнили, — откликнулась Марта.

— Меня не твой голос интересует!

Тогда все остальные сказали, что запомнили. И это вождя удовлетворило.

— Ой! — сказала Люська.

— Что там?

Роясь, словно комары в теплый вечер, по берегу приближались призраки. Жулик ощерился, вскочил.

— Придержи собаку, Пыркин, — сказал вождь.

— Гнать их надо, — сказал Пыркин. — Чего пугают?

— Глупец, — сказал вождь, — ты отлично знаешь, что они безвредны. Любопытны, назойливы, но безвредны.

— А Ломбарда в реку загнали, — сказал Пыркин.

— Туда ему и дорога, — сказала Марта. — А то бы он все ювелирные магазины обобрал.

— Он сам бросился в воду, — сказал вождь. — Его загнала большая совесть.

— А зачем электричеством дергаются? — спросил Пыркин.

Привидения приблизились, но, как и на склоне, Егор не мог разглядеть их лиц.

— Кто они? — спросил Егор.

— Садись, — сказал вождь. — Мне ты нравишься. Я воспитаю из тебя своего первого заместителя. Тебе нравится такой вариант? Мне надоели нелюбопытные глупцы. — Вождь посмотрел на набережную, где сустились призраки. — Даже эти ублюдки сохранили способность удивляться. Странно, не правда ли?

— Почему странно? — спросил Егор. Он сел на край одеяла. От одеяла пахло плесенью. — Кто они такие? Я же не знаю. Мы от них бежали, а от кого, не знаю.

— Бегать не стоит, — сказал вождь. — Привыкнете.

— Как привыкнем? — спросила Люська. — Мы домой пойдем.

— Зря это доверие, — сказал Пыркин. — Они опасные.

Толстая Марта затряслась от смеха:

— Вот повезло. Не думали, не гадали, а будете вечно жить.

— А я бы сейчас полжизни отдал, чтобы сесть за столик в "Метрополе", — сказал Де-Воляй.

— Иди и садись, — сказала Марта. Опять потянулся давнишний спор. Надоел уж, а кончить нельзя, вечно будут спорить. — Час ходу, проводить могу, там не заперто, посидишь, поглядишь.

Вечно жить, подумал Егор, и все дозволено. Можно пройти через весь город, зайти в любой дом, спать на любой постели. И это всегда.

— Только веди себя достойно, — сказал Де-Воляй Егору. — А то наш вождь тебя запросто может приговорить. Он у нас — распорядитель вечности.

— Врешь, — сказал вождь лениво и улыбнулся молодыми, упругими губами, а глаза были старые, пустые.

— Шучу-шучу, — Де-Воляй скалился, как злой щенок.

— И все та же ложь, зависть и глупость, — сказал вождь.

Призраки крутились по соседству, не уходили, словно ждали подачки.

Некоторые что-то держали в руках.

Марта замельтешила пухлыми руками:

— Брысь, проклятые, надоели до смерти!

Призраки не послушались.

— Жулик, — сказал Пыркин, — гони их, ублюдков.

Жулик лениво поднялся с одеяла, тявкнул и затрусил к призракам, те отступали перед ним, но недалеко.

— У этих призраков какие-то вещи, — сказал Пыркин.

— Всегда так, — сказала Марта, — чего только не таскают с собой.

Жулик прибежал обратно, покрутился у гаснущего костра, ожидая, видно, похвалы, не дождался, улегся у ног вождя.

— Ублюдки — не люди, — сказал вождь, — я до них доберусь.

— Привидения? — прошептала Люська.

— Называй их как хочешь. Точнее — это части людей, — сказал Де-Воляй.

— Ага, части, — согласился Пыркин. — И моя совесть здесь шастает. Один тут за мной как тень ходил.

— Люди слабы, — сказал Де-Воляй. — И не в силах справиться с собой. Но случается, кто-то в Новый год понимает, что не может дальше жить со своей трусостью...

— А один пить бросил от невозможности напиться. — Это Де-Воляй, конечно, о Пыркине.

Марта захихикала. Де-Воляй продолжал:

— Ты можешь избавиться от больной совести, от честности, от горя, и сам не заметишь, как это случилось. Только мы здесь заметим.

— И мы не заметим, — сказала Марта. — Их тут тьма-тьмущая.

Один из призраков возник неподалеку, жался к откосу, будто ждал кого-то. Пыркин подобрал камень и бросил в него. Камень прошел сквозь призрака и дробно, громко зацокал, скатываясь по асфальтовым ступенькам к воде. Плеснуло...

— Сегодня у нас праздник, — сказал вождь. — Новый год. Всем веселиться!

— Праздник! — закричала Марта. — А я опять забыла. Мы будем плясать вокруг елки. А где елка-то?

Она полезла в темную нишу, чем-то там загремела.

Егор кинул в костер доску, потом нашел палку, чтобы помешать головешки. Он подумал, сколько раз уже горел здесь костер, и стало страшно, что и он будет приходить к этому костру... Он неудачно наклонился, потерял равновесие и, чтобы не упасть, оперся руками в угли. Не обжегся, Люська зря вскрикнула, но измазался.

— Как неаккуратно, — сказал вождь, — иди, вымойся.

— Он ублюдков боится, — сказал Пыркин.

— Не боюсь, — поспешил ответить Егор. Он вскочил и пошел к реке.

Он чувствовал, что все смотрят ему вслед. Надо идти. Раз уж он оставил свою трусость в прошлом году...

Сзади слышались быстрые шаги.

Люська. За ней Жулик.

— Я с тобой, — сказала она.

Они спустились к реке.

— Пошли домой, — сказала Люська тихо.

— Ты же слышала, — сказал Егор. — Отсюда не уходят.

— Не может так быть, — сказала Люська. — Мы же не хотели.

— Хотели, — вздохнул Егор. — Очень хотели.

У воды их поджидал призрак с чем-то черным в руке.

Жулик обогнал их, отогнал призрака, но тот далеко не ушел, маячил где-то рядом.

— Пойдем отсюда, — сказала Люська, — ты не хочешь, что ли?

— Хочу, — сказал Егор. — Все хотят.

— А они не хотят, — сказала Люська, — неужели ты не понял? Они будут говорить, что хотят. Я в людях разбираюсь. Это ужасные люди.

— Ничего в них ужасного, — сказал Егор, смывая сажу.

По поверхности воды к нему медленно двигался призрак с черным в руках. Жулик залаял, бегая по берегу. Призрак остановился неподалеку.

— Пошли хоть куда-нибудь, — умоляла Люська.

Егор пожал плечами, вытер руки о куртку. Люська была права. Хоть куда-нибудь.

Де-Воляй стоял у костра, сказал:

— Смотри, теперь у тебя, как у Пыркина, свой есть.

Призрак шел за ними.

— Ты его гони, Жулик, ату его! — крикнул Пыркин. Засвистел в два пальца.

Но Жулику надоело бегать, он лег у костра и принялся грызть щепку.

Марта вытащила из ниши кривую нейлоновую елку, увешанную стеклянными, частью битыми шарами, и пыталась воткнуть ее в землю.

— Сделай шаг в сторону, там дырка от прошлого раза осталась, — сказал Де-Воляй. — Тысяча лет пройдет, а ты не запомнишь.

— Надо бы кому-нибудь сходить в магазин, взять новых игрушек, — сказал вождь.

— Вот гости и сходят, — сказала Марта. — Они молодые.

— Нет, — сказал вождь. — Им надо привыкнуть, смириться. Первое время молодые люди будут неотлучно при мне.

Марта принялась медленно приплясывать вокруг криво воткнутой елки. Браслеты и серьги нестройно звенели.

— Жалко, патефон сломали, — сказала она. — Где теперь новую пружину искать? Это все ты, Де-Воляй, своего Баха крутил.

— Неужели отсюда нельзя уйти? — спросил Егор.

Вместо ответа вождь спросил Марту:

— Ты бы ушла?

— Вы с ума сошли! — сказала Марта, не переставая раскачиваться, словно слон в цирке. — А потом ищи дорогу обратно. Здесь у меня вечная молодость. Тра-та-та, тра-та-та... Егор, иди ко мне, станцуем.

— А ты, Де-Воляй? — спросил вождь.

— Мне там делать нечего. Хотя, впрочем, взглянул бы — и обратно. По вашему счету лет двадцать прошло. Может, амнистия...

— Нет тебе амнистии.

— А я бы пошел, вот кем мне быть, пошел бы, — сказал Пыркин. —

Насосался бы у первой пивной — только вы меня и видели.

— А можно уйти? — настаивал Егор.

— Нет, — сказал вождь. — Нельзя. Перестань мельтешить, Марта. Я устал. Дай мне зеркало.

Марта перевела дух, протянула вождю зеркало.

— Как вы хорошо сохранились! — воскликнула она.

Вождь подпер изнутри щеку языком и долго рассматривал родинку. Потом отложил зеркало и сказал Егору:

— Первое время вы будете жить со мной, в нише. Это приказ. Даже самый скромный из вождей должен поддерживать порядок. Иначе он останется один.

— Мы все равно уйдем, — сказала Люська.

— Что ждет тебя дома? — спросил вождь. — Вопрос праздный, ты никогда уже туда не вернешься. Но все-таки подумай.

— Мама моя беспокоится. Может, плачет.

— У нее есть Константин. Ты никому не нужна.

— Пускай, — сказала Люська. — Я к тетке поеду, под Курск. Она добрая, тетка. Она меня звала...

— Чепуха, — усмехнулся вождь. — Ложные надежды. Никто никому не нужен. А здесь тебе рады. Подумай на досуге. А нам с Мартой пора на прогулку. Даже если ничто не угрожает твоему здоровью, о нем следует заботиться. Де-Воляя, например, уже ноги не держат. Егор, присматривай за костром!

Вождь встал с кресла, потянулся, захрустел пальцами.

— Пыркин, Де-Воляй, вы с нами?

Те отказались.

Егор смотрел вслед вождю. Он шел размеренно, высоко поднимая худые ноги. Марта плыла зади, словно утка.

Пыркин скорчился на одеялах. Де-Воляй сидел неподвижно на корточках у костра. Было очень тихо.

— Ты меня слышишь? — спросила Люська.

— Да, — сказал Егор.

— Пойдем, пока его нет, — сказала Люська. — А то не пустит.

— Девочка права, — сказал Де-Воляй, не оборачиваясь. — У нашего властелина каждый подданный на счету.

— А Константин не такой плохой, — сказала Люська. — Не пьет совсем. Мне платье подарил, честное слово, не вру. Я только это платье не носила. Ножницами изрезала и выбросила.

— А он? — заинтересовался Де-Воляй.

— Он ничего, промолчал. Мать меня отлупила.

— Тебе здесь не место, Люся, — вздохнул Де-Воляй.

— Это точно, — отозвался Пыркин. — Никому здесь не место.

— Пускай уходят, — сказал Де-Воляй, — а то затянет. Вождь что-нибудь придумает.

— Не может быть, чтобы нельзя уйти! — сказал Егор. — Не верю я вашему вождю.

— И правильно делаешь, — сказал Пыркин. — Врет он все.

— Мы знаем людей, которые уходили и не возвращались. Если бы они

не нашли выхода, то вернулись бы, — сказал Де-Воляй.

— Я же говорила! — Люська вскочила, потянула Егора за рукав. — Ну вставай же!

— А куда идти? — спросил Егор, поднимаясь.

— Идите по набережной, — сказал Де-Воляй, — те, кто ушел, шли по набережной — направо. Идти надо быстро. И верить, что вы уходите отсюда навсегда. И если получится, вы сами поймете...

— Я с вами, — вдруг сказал Пыркин, — сил моих больше нет.

— Тебе не дойти, — сказал Де-Воляй.

— Это мне-то?

— Ну, как знаешь. Я с тобой не прощаюсь.

— А вы? — спросила Люська.

— Мне нельзя.

— Знаете, может, лучше все-таки...

— Не тратьте времени зря. Вон уж вождь возвращается...

— А как вас зовут? — спросил Егор. — Может, что-нибудь передать?

— Ни в коем случае, — сказал Де-Воляй. — Меня давно нет.

Асфальт был влажный, темный. Впереди бежал Жулик. Пыркин шагал рядом и все повторял:

— Как же я раньше не догадался?

Шли быстро.

— Мы обязательно дойдем, да? — спросила Люська. Егор оглянулся. У нейлоновой елки стоял маленький Де-Воляй. Он поднял руку, прощаясь.

Из-под метромоста к ним тянулись призраки, но увидели Жулика и спрятались.

За старым монастырем дорога расширилась. Пыркин отстал.

— Отдохнем, что ли? — спросил он.

— Так нам никогда отсюда не выйти, — сказал Егор и даже прибавил шагу. За ним увязался призрак с чем-то черным в руке. Его Егор узнал — уже видел у реки. В упорстве призрака было что-то зловещее.

— Чего тебе надо? — крикнул ему Егор.

Призрак остановился.

— Я больше не могу! — взмолился Пыркин. — Одышка у меня. Здоровье не позволяет. Соседка, ты бы хоть меня пожалела.

— Ты лучше возвращайся, — сказала Люська безжалостно. — И сам не дойдешь, и нас непустишь.

— Значит, не годен я вам? — озлился вдруг Пыркин. — Так я и знал, с самого начала вашу сущность определил! Бросаете старого человека.

Он остановился.

— Иди обратно, — сказала Люська, — тебе там лучше. Дома опять в милицию попадешь.

— Вы простите нас, но мы больше не будем останавливаться, — сказал Егор. — Мы хотим к людям.

Но они с Люской не уходили. Все-таки неловко бросать человека. Пыркин вдруг наклонился, поднял с земли камень и кинул в Егора, камень больно ударил по руке.

— Вы чего?

— Скатертью дорожка! — крикнул Пыркин. — Чтоб вас ублюдки сожрали.

Он повернулся и неуклюже побежал обратно, к костру.

— Пошли, — сказала Люська. — Тебе не больно?

— Нет. Глупо как-то получилось.

Призрак обогнал их и встал на пути. Сквозь его жигу словно просвечивало знакомое лицо. Жулик кинулся к нему, и призрак, отпрянув, уронил на асфальт то, что держал в руке.

Это был магнитофон. Портативный магнитофон...

Егор понял, что за лицо просвечивает в призраке. Лицо Гарика. Егор нагнулся. Рука прошла сквозь магнитофон. Подарок тоже оказался привидением. Привидением магнитофона.

— Это твое? — спросила Люська.

— Отцовский магнитофон, — сказал Егор.

— А ты этого, который подкинул, знаешь?

— Он как будто похож на человека, из-за которого я здесь.

— Это не он, — сказала Люська уверенно. — Это его совесть. Он ее здесь оставил. Или стыд. Или страх... Помнишь, как вождь говорил.

— Может быть, — сказал Егор.

Магнитофон стоял у его ног. Как настоящий. Даже странно было оставлять его здесь.

— Пошли, — сказала Люська. — Уже поздно. Думать потом будешь.

Жулик уже бежал впереди. Видно, решил остаться с ребятами. Они шли еще минут десять. Почти бежали.

— Здравствуйте, — услышал Егор.

Наверху, на склоне, сидели мужчина и женщина, совсем старые, седые.

— Здравствуйте.

— Не останавливайся! — крикнула Люська.

— Вы были у вождя? — спросил старик.

— Простите, мы спешим, — сказал Егор.

— Ради бога, мы вас не задерживаем, — сказала старуха.

— Счастливого пути, — сказал старик. — Вы правильно идете. Только умоляю, не останавливайтесь.

...Не хватало воздуха.

— А ты глубже дыши, — сказала Люська. — Смотри, как я.

Она оказалась железным, упрямым человечком. Егору даже стало смешно.

— К тетке спешишь, под Курск? — спросил он, сбивая дыхание.

— Дурак, — обиделась Люська.

Больше они не разговаривали. Сил не было.

Лет через сто они оказались на площадке, где замерли карусели и люльки-самолеты. Егор давно бы плюнул на все, но все равно бежал, потому что бежала Люська.

Вроде бы стало темнее и холоднее. Мимо, как за окном поезда, проплывали какие-то темные здания. Егор протянул Люське руку, и она крепко схватилась горячими пальцами. Егору показалось, что на небе луна, но сил не было поднять голову, поглядеть еще раз.

Жулик тоже устал, высунул язык чуть не до земли, наверно, уже раскисался, что увязался за такими странными людьми.

Егору почему-то казалось, что он несет магнитофон и от этого ему тяжело бежать. Но бросить его он не мог, пальцы не слушались.

...Впереди, за широкой площадью, поднимались колонны. Вход в парк. Неужели они уже пробежали от метроуста до входа? А сколько еще бежать?

Конечно, Де-Воляй их обманул. И сейчас посмеивался. Никуда отсюда не деться. Ты совершаешь в жизни одну ошибку, главную, которую нельзя исправить. Егор хотел остановиться. Люська заметила, дернула за руку. Егора охватила злость на эту девчонку, он хотел было сказать...

Жулик отчаянно залаял и понесся вперед.

От входа к нему навстречу бежала белая собачонка.

Между колоннами входа видны были фонари улиц, перечеркнутые косо летящими снежинками.

— Гляди, — прошептала Люська. — Да гляди же!

Там, под фонарями, медленно ехал ночной троллейбус. Слышно было, как он тормозит у остановки. Его окна желтели, как окна теплого дома.

— А теперь смотри назад!

Люська торжествовала, словно все вокруг было делом ее рук.

Сзади, за площадью, устланной мокрым снегом, чернели аллеи черных деревьев, а от них по снегу через всю площадь тянулись две цепочки человеческих следов, а рядом, зигзагами, собачьи.

...Они стояли между колоннами входа. Примораживало. Егора била крупная дрожь.

— Отойдем подальше, — сказала Люська, — на улицу.

— Не бойся, — сказал Егор. — Мы уже пришли.

Жулик пробежал мимо, бок о бок с белой собачонкой, оглянулся на Егора, чтобы тот не ушел без него.

— Ты сильный, добежал, — сказала Люська с одобрением. — Я думала, помру, чуть-чуть не померла.

— Ты смешной человек, Люська.

— Нет, правда, без тебя я бы не добежала. Ну куда мне одной? Тебе далеко домой ехать?

— Нам вместе.

— У тебя мелочь есть на метро? — спросила Люська. — А то у меня ни копейки.

— Наверно, метро еще не работает.

По той стороне шли ребята, человек десять, с гитарой.

— С Новым годом! — крикнул один из них, заметив Егора с Люськой.

— С Новым годом! — Люська притоптывала, чтобы согреться.

— Проводить тебя до дому? Я скажу твоей матери, что ты не виновата.

— У меня обойдется, — сказала Люська. — Ты не переживай. Вон автомат стоит, позвони домой, соври им, что у товарища загулял.

Голос у Люськи был взрослый, многоопытный и такой серьезный, что Егор рассмеялся.

СЛИШКОМ КОРОТОК ВЕК

Как утверждают специалисты, группа "Машина времени" – "текстовая", то есть главное и особенно ценное в ее композициях – слова. И за редким исключением принадлежат они лидеру этой самой "машины" – Андрею Макаревичу. "Поворот", "Скачки", "Музыка под снегом", "В добрый час", "Караван"... Все не перечислишь, да и в этом нет необходимости: многотысячная армия поклонников знает и любит их, потому что в стихах, положенных в основу песен, автору удалось выразить дух времени, сказать именно те слова, которые очень нужны сегодня молодежи.

Андрей Макаревич всегда считался и считается одним из самых интересных поэтов-песенников. "Любопытно, – задавался вопросом автор книги "Рок в нескольких лицах", вышедшей в 1989 году, – издадут ли когда-нибудь книги его стихотворений?". Сегодня со всей определенностью можно ответить: "Да!" Такая книга готовится к печати и скоро увидит свет. А пока мы предлагаем поэтическую подборку Андрея Макаревича.

Андрей МАКАРЕВИЧ

* * *

Слишком короток век –
Позади до обидного мало:
Был мороз не мороз,
Да и зной был не очень-то зной.
Только с каждой весной
Все острее ощущение финала
Этой маленькой пьесы,
Что придумана явно не мной.
Это словно в кино,
Где мы в зале и мы на экране:
Всем обещан полет,
И сверкают огни полосы,

Только время пришло –
Отпирают, трезвонят ключами,
И разрушено все,
И со вздохом глядишь на часы.
Кто тут прав, кто не прав –
Я прошу вас: не надо, не спорьте!
Слишком короток век –
Не прошел бы за спорами весь.
Мы увидимся все
В позаброшенном аэропорте
При попытке успеть
На когда-то отправленный рейс.

* * *

Наша жизнь не приемлет в себе постоянства.
И прощаться легко. Только тихая грусть
Занимает в душе небольшое пространство,
Если сверху смотреть на отмеренный путь.
Ведь прощаемся мы не с людьми, не с местами,
И не в том, между нами, расставания суть –
Всякий раз мы прощаемся с нашими днями,
Что уже не вернуть.

ВРЕМЯ

Нам уготовано, мальчик мой,
Легкое это бремя –
Двигаться вдоль по одной прямой,
Имя которой – Время.
Памяти с нею не совладать –
Значит, нам повезло:
Время учит нас забывать
Все – и добро, и зло.

Встречи, прощанья – какое там!
Даже не вспомнить лица.
И только вещи, верные нам,
Помнят все до конца:
Помнит лодка причал, а весло
Помнит воду реки.

Помнит бумага перо, а перо
Помнит тепло руки.
Стены и двери помнят людей –
Каждого в свой срок.
Помнит дорога ушедших по ней,
Помнит выстрел курок.

Только проносится день за днем –
Значит, не пробил час!
Вещи пока молчат о своем
И не тревожат нас.
Могут проснуться они летним днем
Или среди зимы,
Чтобы напомнить нам обо всем,
Что забыли мы.

* * *

Увидеть реку, подойти к реке,
К воде спуститься, над водой нагнуться,
И зачерпнуть, и в город свой вернуться,
Что от реки построен вдалеке,
И встать с кувшином в тень у старых стен,
И всех созвать – пускай подходит каждый,
И напоить всех тех, кто мучим жаждой,
И ничего не попросить взамен.
Когда взойдет вечерняя звезда –
Оставить все и двинуться в дорогу:
Другие реки где-то катят воду,
И где-то ждут другие города.
И так пройти семь тысяч городов,
И каждый раз, к реке спускаясь с кручи,
Жить верой в правду некоторых слов,
А также в силу нескольких созвучий...

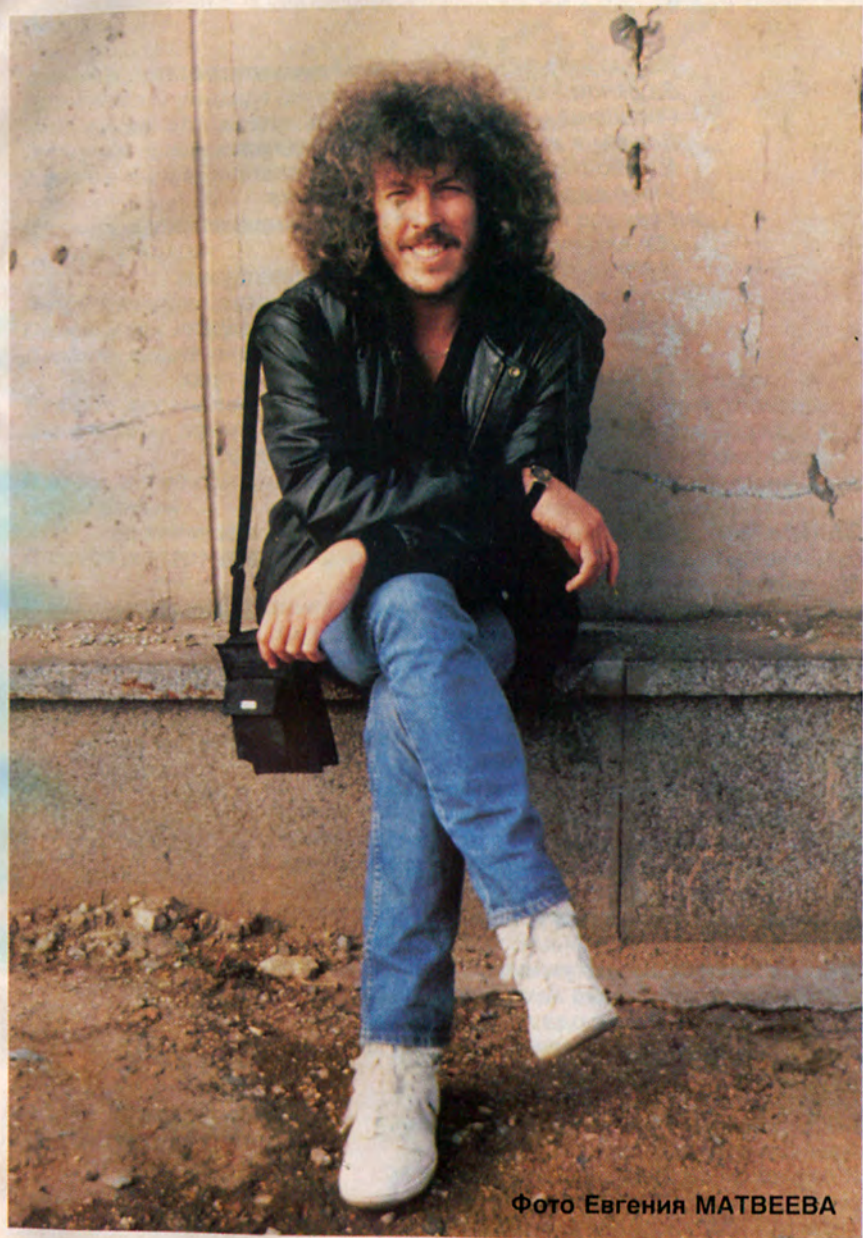


Фото Евгения МАТВЕЕВА

Ночью – больше усталость. И меньше злость.
 За окном – осенняя вьюга.
 Гостиница – это от слова "гость".
 Все мы в жизни в гостях друг у друга.
 Можно глотку драть, не жалея сил,
 Утверждая, что все – невзначай, но
 Всех нас кто-то когда-то сюда пригласил.
 Мы встречаемся не случайно.
 И когда согласишься, что это так,
 То рождается ощущение,
 Что любая встреча есть верный знак
 Высочайшего назначения.
 Только что надежды? Рассыпались в прах.
 Ночь в окне туманом клубится.
 Я опять в каких-то незваных гостях.
 Спит хозяин. Пора расходиться.

ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Мы много дорог повидали на свете,
 Мы стали сильнее, мы стали не дети.
 Но лето в дороге кончалось зимою,
 А зимы в дороге кончались стеною.

А мы еще верим, что мы не забыты,
 Стучимся мы в двери, а двери надежно закрыты.
 И я не пойму, от кого их закрыли, –
 Нас, может быть, звали, но просто забыли.

И, может, нам быть понастойчивей стоит,
 Тогда нас услышат и двери, конечно, откроют.
 Но вот уже годы минутами стали,
 И мы понемногу стучаться устали.

И снова зима эту землю укроет,
 Никто не услышит, никто не откроет,
 Быть может, стучатся сюда по-другому,
 А может быть, просто хозяев давно нету дома.

Дорога тебе не сулит возвращения –
 Тебе в возвращении не будет прощенья,
 А ты все не веришь, что мы позабыты,
 И ломишься в двери, хоть руки разбиты,
 И ты безоружен и просто не нужен –
 Тебе остается лишь вечер и зимняя стужа.

ТЫ ИЛИ Я

Все очень просто:
 Сказки – обман.
 Солнечный остров
 Скрылся в туман.
 Замков воздушных
 Не носит земля.
 Кто-то ошибся –
 Ты или Я.

Все очень просто:
 Нет гор золотых.
 Падают звезды
 В руки других.
 Нет райской птицы
 Среди воронья.
 Кто-то ошибся –
 Ты или Я.
 Лишь только весной
 Тают снега,
 И даже у моря
 Есть берега.
 Всех нас согреет
 Вера одна...
 Кто-то успеет –
 Ты или Я.

ПАУЗЫ

Давайте делать паузы в словах,
Произнося и умолкая снова,
Чтоб лучше отдавалось в головах
Значенье вышесказанного слова –
Давайте делать паузы в словах.

Давайте делать паузы в пути,
Смотреть вокруг
внимательно и строго,
Чтобы случайно дважды не пройти
Одной и той неверною дорогой –
Давайте делать паузы в пути.

Давайте делать просто тишину –
Мы слишком любим
собственные речи,
И из-за них не слышно никому
Своих друзей
на самой близкой встрече –
Давайте делать просто тишину.

И мы увидим в этой тишине,
Как далеко мы были друг от друга,
Как думали, что мчимся на коне,
А сами просто бегали по кругу.
А думали, что мчимся на коне.

Как верили, что главное придет,
И считали кем-то из немногих,
И ждали, что вот-вот произойдет
Счастливый поворот твоей дороги,
Судьбы твоей счастливый поворот.

Но век уже как будто на исходе,
И скоро, без сомнения, пройдет,
А с нами ничего не происходит,
И вряд ли что-нибудь произойдет,
И вряд ли что-нибудь произойдет.



Возникает из недопетости
На потребу растущим хлопотам
То, что мы называем зрелостью,
То, что мы называем опытом.
И друзья, оставаясь в наличестве,
Становились другими начисто –
Это мелких потерь количество
Переходит подспудно в качество.
От любви к туманной поэтике
До любви к бытовой математике –
Если были мы теоретики –
То теперь, безусловно, практики.

Было дело – и я в это кинулся,
А только, видно, стал староват –
Лишь вчера я любил Калининский,
А теперь выбираю Арбат.
И, надеждой себя не балуя,
Никому не желая зла,
Удивляюсь на лодку старую,
Что так долго нас всех несла, –
Ведь плывет она тем не менее,
Как Земля, что все-таки вертится,
Под всеобщее изумление –
И на чем она только держится?

И я хочу, чтоб на время забыли мы
Деловые, полезные навыки –
Наши руки б освободили мы,
Чтоб попробовать взяться за руки,
И чтоб где бы мы только ни были –
Мы б умели, прикрывши двери,
Хоть на время забыть о прибыли,
Чтоб хоть раз сосчитать потери.



Дмитрий КЛЕНСКИЙ

У НИЖНЕГО КРАЯ ОБЛАКА

Фото Сергея ПЕТРУХИНА



Когда мы встретились, никак не мог поверить, что миловидная, по-женски мягкая в разговоре рижанка Елена Константиновна Самцова – та самая, которую представили как ответственного секретаря Федерации планерного спорта Латвии, старшего тренера сборной республики. Ее воспитанники неизменно добиваются в последние годы призовых мест на первенстве Советского Союза в командном зачете. Уловив мои сомнения, собеседница "приземлила" меня: "А я давно не летаю. Медики списали. Один глаз чуть плохо видит".

Уникально не только то, что нет в стране нелетающих трене-





ров-планеристов. Оказывается, Рижский аэроклуб единственный, который не располагает собственным... летным полем. Хотя в черте города есть идеальный аэродром "Спилве", расположен он якобы в опасной близости от столичного аэропорта. Перестраховка? Но об этом чуть позже. И приходится любителям парить под облаками, а также всем парашютистам ездить в другой город – Елгаву, за шестьдесят километров. Но и здесь не разгуляешься. Приоритет у военных летчиков. Конечно, са-

мых увлеченных, которые, по выражению Самцовой, "живут воздухом", это не удерживает.

И все же для миллионного города маловато планеристов и парашютистов. Есть тому еще причины. Одна – непосредственная подчиненность ДОСААФ армейскому ведомству страны. Елена Константиновна заметила, что латыши по природе своей исключительно мирные люди и сама мысль о том, что твое хобби – увлечение полетами – непременно связывается в перспективе с военной службой, на

худой конец – спортом, который в нашей стране стал уделом элиты, добывающей Родине медали, места, короче, Результат, отталкивает молодежь. Не секрет также, что и близость границы неоправданно ужесточала отбор новобранцев и требования к режиму полетов.

Во всем мире полеты на планерах, спортивных самолетах, парашютные прыжки, а также дельта-планеризм и путешествия на воздушных шарах стали разновидностью массового досуга, часто весьма престижного. Безусловно, удовольствие это – недешевое. Планер "Бланик" и раньше стоил четыре тысячи, а теперь – все 30-40 тысяч марок ФРГ. Цена парителей стандартного класса доходит до

семидесяти и гоночного – ста тысяч германских марок. Из-за такой для нас дороговизны даже сборная СССР лет десять не участвовала в первенствах мира, а последние годы берет планеры напрокат! Что там говорить о досуге!

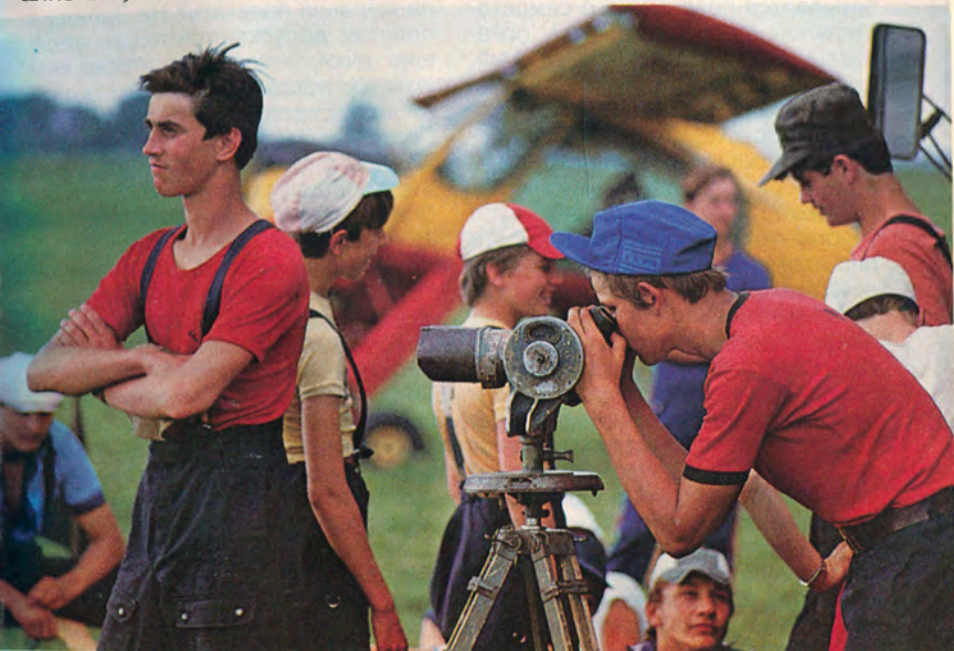
Выход есть. Покупают же яхты предприятия и учреждения Латвии. Вообще нужны пропаганда и спонсоры. Кстати, Председатель Совета Министров республики Ивар Годманис совершил недавно полет на планере. Реклама, да еще какая! Надо шире применять платные услуги – аэроклубы должны стать самоокупаемыми. Спортсмены же могли бы, как говорится, скинуться и приобрести человек на пятьдесят один классный планер. Но все это





только благие пожелания, ибо инструкциями такая инициатива запрещена. Вот почему так много ждали от реформы ДОСААФ. Но пока она дала знать о себе лишь прекращением финансирования ЦК ДОСААФ прибалтийских республик с октября этого года. Опустели аэроклубы – одни специалисты уволились, другие взяли

списывать по акту устаревшие модели самолетов и планеров. Сказать проще – их уничтожали. Отчего же тогда денежку не считали? Помню планеры "Фока": деревянную часть сжигали, металл сдавали в утиль. Как правило, эта техника была исправна, ресурс не отработан. Сколько погублено ЯК-12, планеров "Приморец", "Кобра", "Пи-



отпуска и ждут прояснения ситуации... Впрочем, поговаривают и о таком варианте – Центр продаст республике всю имеющуюся в ее аэроклубах летную технику, здания и оборудование. – Странная позиция, считает Самцова. За полвека Советской власти население Прибалтики весомо пополняло казну военно-патриотического общества. И что при этом поразительно: годами мы обязаны были

рат", антоновских парителей А-11, А-15! Такое варварское отношение, возможно, объяснялось все той же бдительностью – а вдруг кто-то задумает бесшумно скрыться за "железным занавесом". В душе мы плакали – на списанных летательных аппаратах могли бы успешно летать спортсмены клубного класса, которым техники не хватает хронически.

А пока аэроклубам фактически

запрещают всякую деятельность. Нельзя пользоваться больше самолетами, прекращен отпуск авиабензина, закрыты взлетно-посадочные полосы. Общественность республики встревожена. Закрытие ДОСААФ не должно означать вымирания технических видов спорта. Кое-кто намерен обратиться в народный суд. Уже разрабатывается положение о самостоятельной республиканской организации, похожей на ДОСААФ, продумывается его законодательное оформление.

Решено отказаться от устаревших или просто глупых инструкций, противоречащих здравому смыслу. Например, существующий курс учебно-лётной подготовки предписывает ежегодно проходить так называемый "ввод в строй". Каждого – и начинающего, и такого аса, как рекордсмен мира Дайле Вильне. На это уходит уйма времени. Растрачивается дефицитное топливо, ресурс техники, личное время спортсмена. Кстати, последнее не блажь, планеризм – сезонный вид спорта. Да и летом надо ждать погоды. Люди жертвуют на это отпуск, выходные дни. Из-за этого за год удастся участвовать только в одном-двух соревнованиях. Ввод в строй обязывает планеристов летать вместо тренировки в так называемой закрытой кабине в искусственных условиях. Формальность! И очень скучная. Планеристы называют такие полеты дутыми.

Поразительно, но летающим без длительных перерывов, опытным пилотам, имеющим лицензию на полеты и страховой полис, не доверяют. Это – симптом старой болезни нашего общества: боязни персональной ответственности –

вот ее и перекладывают, подставляясь завышенными требованиями. То же относится к здоровью. Причем гражданские лица обязаны проходить почему-то военно-медицинские комиссии.

Елена Константиновна чуть не заплакала, когда я, как оказалось бестактно, поинтересовался: а нет ли желания полетать? На Западе к полетам допускаются люди, носящие очки, – главное, чтобы они умели управлять техникой. На чемпионате Европы в Орле девушка из Германии, завоевавшая не одну медаль, с трудом ходит. Нога у нее в ортопедическом башмаке – в кабину планера ее сажали тренеры и друзья. Наши требования непомерно завышены. И если бывают ЧП, то чаще всего из-за ухарства. Это признают все, но...

Самцова увлеченно рассказывала не только о проблемах. Много интересного я узнал о воздухоплавании, о плюсах и минусах новых родственных видов спорта и увлечениях – дельта-планеризм и воздухоплавание на шарах. А еще о регалиях планеристов мира: серебряном знаке и золотом, с тремя бриллиантами на нем – высшем знаке отличия, о рекордах на дальность и время парения, о том, как надо подобраться к нижнему краю облака, чтобы поймать восходящие потоки воздуха... Само собой, вспоминала собеседница и об ощущениях в полете: "Бывает, человек очень расстроен чем-то. Но вот ему сказали: лети! И все забываешь напрочь. Какое колоссальное удовольствие от того, что видишь вокруг себя. Ощущаешь тишину как покой... А бывает, рядом аисты парят. Это счастье не описать".

ФИЛЛИС

Перевод с английского Владимира ЛЬВОВА

Часть первая

ФИЛЛИС ГОЛЬДМАРК

Волею судеб Филлис стала движущей силой множества событий, но по природе своей она не годилась на роль героини мелодрамы, а слишком многие из этих событий были мелодраматичны по своей природе. С таким заявлением Филлис никогда не согласится: по ее мнению, в с я совокупность и сущность жизненных событий, не только ее и моих, но и ваших, представляет собой трескучую, шумную мелодраму, не предназначенную для глаз цивилизованной публики. Однако, поверьте мне, грань цивилизованности эфемерна и зыбка.

Осмелюсь заявить, что Филлис не годится и на роль героини романтических историй, роль, которую повсюду пытаются сыграть все молодые дамы. И в тот момент, когда меня инструктировали ("Это приказ, Клэнси, это ваш долг перед Родиной и Богом!"), как завоевать ее любовь, приязнь и доверие, она уже вышла из возраста юных романтических дам. Ей было двадцать девять. Они посочувствовали мне, объяснив, что Филлис далеко не красавица — именно так они и выразились, — ибо даже великие предводители человечества, управляющие судьбами, — всего лишь мясо для мусорубки Голливуда и Мэдисон-авеню. И если в их жизнь вне графика вторгается романтика, то она мыслится лишь в образе длинных ног, огромных молочных желез и лица, еще более стандартного и невыразительного, чем наши туземные автомобили.

Филлис этому стандарту не соответствует. Она изящна, не агрессивна, с коротко остриженными каштановыми волосами и милым лицом. Выглядит она моложе, а ведет себя старше своих лет. Она — доцент кафедры физики Никербокерского университета. Застенчива, но не до неприличия, занята собой, как следствие комплекса единственного ребенка. Отец умер. Живет она с матерью в четырехком-

натной квартире на Вашингтонских Высотах и на свою зарплату содержит и квартиру, и семью. Окончила школу имени Джулии Ричмонд и Хантер-колледж, докторскую степень получила в Колумбийском университете. После смерти отца осталась страховка на пять тысяч долларов — основное его богатство, — благодаря которой она сумела окончить аспирантуру и вместе с матерью не умереть с голоду. Когда же Филлис устроилась на работу, мать стала шить по мелочам, укорачивать платья и перешивать рукава. Филлис подрабатывала в универмагах. В ней соединились все глубочайшие горести и беды нищего существования, что хорошо знакомо и мне, Томасу Клэнси.

У Филлис огромные, красиво очерченные карие глаза, глядящие на собеседника прямо и вопрошающе. Ее так называемая "личная жизнь" — это профессор Алекс Хортон, сорока одного года от роду, с той же кафедрой, что и Филлис. Они, как говорится, "встречались" почти два года. Они были достаточно близки друг другу, как любая другая пара в их положении. Время от времени ходили в кино, время от времени в театр. Они появлялись вместе на четырех факультетских вечерах. Что касается брака, то конкретный разговор об этом никогда не заходил. Хортон принадлежал к методистской церкви, Филлис же — еврейка. Один из друзей Хортон как-то заметил, что главным затруднением была мать Филлис. Того же мнения придерживался и заведующий кафедрой физики Никербокерского университета профессор Эдвард Горленд.

Профессор Горленд осторожно, но неуклонно поднимался по лестнице успеха. На всех уровнях, в каждом уголке нашего общества, где человеку светит успех, есть такие осторожные люди, прекрасно знающие, как поступать. Они умеют говорить. У них тщательно отработаны жесты. Будучи уверен, что пост заведующего кафедрой в столь престижном университете, как Никербокерский, имеет вес в академическом мире, профессор Горленд извлекал из этого все возможное и даже больше. Будучи немолодым, он вел себя осмотрительно и в то же время самоуверенно, голова его была битком набита идиотскими предрассудками "человека на самом верху". Самоуверенность его подкреплялась тем фактом, что его специальностью была физика и он руководил кафедрой.

— Изменив мир, мы должны постоянно держать руку на пульсе этих перемен, не так ли, мистер Клэнси? — сказал он как-то в беседе со мной. У него было удлинненное, благородное лицо, и, как многие знаемые мною актеры, он умел эффектно вздергивать бровь. — Разве можно отстранять лоцмана, прокладывающего новый курс?

Я не имею ни малейшего понятия о лоцманах и курсе кораблей, и, по сути дела, он просто пытался выяснить, что станет с ним. Его переполняли раздражение и зависть, поскольку он понятия не имел, чем я занимался на его кафедре и почему вообще там очутился. Он отдал бы все, чтобы узнать наверняка, и все время делал намеки на то, что декану факультета все уже известно. Мне было безразлично, что кому известно; но такие люди, как Горленд, при всей своей внешней деликатности на деле не деликатны до предела. Так, в продолжение одной-

единственной бэседы он трижды упомянул тот факт, что Филлис — еврейка.

В первый раз он сказал об этом, когда попытался подчеркнуть, что на его кафедре не существует дискриминации. Но тут же добавил:

— Поймите меня правильно, вряд ли было бы этично иметь на кафедре одних евреев. Хотя в Нью-Йорке это сделать легче легкого. Получилась бы, так сказать, дискриминация наизуворот. И поскольку физика и секретность неотделимы, вы, сотрудники службы безопасности, будете проверять еврея особенно тщательно, не так ли?

— Понятия не имею, — ответил я. — Я ведь уже говорил вам, профессор Горленд, что не имею отношения к службам безопасности и вообще не являюсь государственным служащим. Я обычный нью-йоркский муниципальный полицейский.

Второй раз он упомянул об этом, когда назвал Филлис дамой и заметил, что ни по ее виду, ни по ее речи нельзя узнать, что она еврейка.

— А почему? — спросил я, а он ответил, что сам не знает, но дело обстоит именно так.

Я с ним не согласился, тем более меня воспитала улица, а она многолика. Вдобавок я никогда не знал, что такое настоящая дама, ибо дама для меня — это просто женщина.

Третий раз он затронул эту тему, сказав, что, поскольку я ирландец и католик, нам с Филлис будет трудно найти общий язык.

— В каком смысле трудно?

— Ну, примерно, как Алексу Хортону.

— Понял вашу мысль.

— Но, видите ли, для такого убежденного холостяка, как Алекс Хортон, сама мысль о браке неестественна.

— Я тоже так думаю, — согласился я. — Но все же какое отношение ко всему этому имеет мое ирландское происхождение и католическая религия?

— Дело в том, что мама у мисс Гольдмарк принадлежит к числу людей со старомодно-религиозными взглядами. Так, по крайней мере, мне представляется. И поскольку Хортон — методист, трудности вводятся в квадрат. Не сочтите это самонадеянностью с моей стороны, но могу я предположить, что для вас, как католика, эти трудности усугубятся?

— Я бы не назвал ваше предположение самонадеянным, профессор. И я не собираюсь вступать в брак с Филлис Гольдмарк. И почему вы решили, что я католик? Из-за фамилии?

— Поверьте, я очень хорошо отношусь к католикам. Однако полагаю, что не ошибусь, если скажу вам, мистер Клэнси, что ощущаю с вашей стороны явную неприязнь. А я просто пытаюсь идти вам навстречу в столь трудном и деликатном деле.

— Понимаю вас и ваши чувства. Если мое отношение к вам кажется неприязненным, то с готовностью приношу свои извинения.

— Что вы, что вы! Зачем извиняться? Мне все ясно. Мы просто выяснили точки соприкосновения, мистер Клэнси.

— Безусловно, — согласился я. — Но дело в том, что я не католик,

хотя это и неважно. Мой дед родился в Белфасте. Родители у меня принадлежали к пресвитерианской церкви. Я сам не знаю, какой я религии, но мне все равно, католик я или не католик. Однако не будем создавать искусственных трудностей, и если мисс Гольдмарк спросит об этом, скажите правду или, в конце концов, сошлитесь на незнание. Мне безразлично.

— Вы понимаете мою точку зрения?

— Я понимаю вашу точку зрения.

— Дело в том, что я в полном неведении. В абсолютном неведении. Если бы у меня был хоть малейший намек на то, в чем суть происходящего... Только поймите меня правильно: я не собираюсь лезть не в свое дело...

Я пожал плечами.

— Все мы теперь солдаты огромной армии. Разве не так? И это для меня не просто оборот речи.

— Я не солдат, — произнес я. — Я простой полицейский, профессор Горленд.

У меня было две лекции в неделю — на большее я был неспособен, даже несмотря на помощь при подготовке к занятиям. На каждую тему мне требовалось десять дней при условии, что я вживался в предмет, дышал им и читал до умопомрачения, пока текст перед глазами не начинал плыть. Тогда глаза у меня закрывались сами собой. Однако, как мне показалось, я был на уровне.

В первый раз, когда я пришел вести занятия с курсом Хортона, в аудитории появилась Филлис. Темой лекции были сущность и происхождение потоков космических частиц высоких энергий. Меня слушали восемьдесят три молодых человека, которые знали гораздо больше и о физике, и о математическом обосновании сущности высокоэнергетических излучений, чем знал бы об этом я, занимаясь я этими проблемами десять месяцев вместо десяти дней. Держался я на пустом тщеславии своего тридцатисемилетнего возраста, а также благодаря помощи специалистов и аналитическим обзорам написанного на эту тему такими величинами, как Энрико Ферми, Бруно Росси, Пьер Оже, Роберт Милликен и Карл Д. Андерсон. Филлис вошла перед самым началом лекции, несколько минут постояла у стены: изящная, стройная, потом села в последнем ряду, а я в это время вещал, что наиболее очевидное затруднение, связанное с определением источников космической радиации, заключается в том, что точки или направления, откуда это излучение бомбардирует нашу планету, не соотносятся с гипотетическими его источниками.

Слушала она внимательно, подперев ладонью подбородок, а я в это время разворачивал перед слушателями кое-как сляпанную лекцию; и вдруг, неожиданно для себя, почувствовал, что слежу за ее реакцией и жду от нее поддержки. Мне хотелось, чтобы лекция оказалась хорошей, и эта мысль даже не была связана с тем обстоятельством, что лектор — я. Мне хотелось, чтобы студенты отнеслись ко мне с уважением, я даже сам поверил на мгновение, что стал частью факультета, что жизнь моя приобрела смысл, направление и цель. Быть может, по

ходу моего дальнейшего рассказа станет ясно, отчего мне захотелось этого.

Когда я кончил и весьма удовлетворительно справился с ответами на вопросы, не выказав себя ослом, после чего студенты стали покидать аудиторию, Филлис подошла к кафедре, представилась и общилась со мной, что профессор Горленд посоветовал ей поприсутствовать у меня на первой лекции. Несколько раз она уже попадалась мне на глаза, но этот разговор стал нашей первой настоящей встречей.

— Поймите, я пришла не шпионить или следить за вами. Но наша работа взаимосвязана, и мне бы очень хотелось, чтобы вы побывали у меня на паре занятий.

— Был бы очень рад, мисс...

— Гольдмарк, — сказала она. — Филлис Гольдмарк. А вы Томас Клэнси. Слышала, что раньше вы занимались исследовательской работой. Вы рады, что вернулись к преподаванию?

— Я не вернулся, мисс Гольдмарк. Это мой первый опыт.

— Неужели?

— Разве не видно было, как я нервничал?

— По правде говоря, нет, — заметила она. — Я даже решила, что вы очень уверенный в себе преподаватель. Не могу поверить, что вы никогда не занимались педагогическим трудом. Я преподаю уже семь лет и многое бы отдала, чтобы обрести вашу веру в себя.

— Для меня это настоящий комплимент. Вы очень любезны, мисс Гольдмарк.

До этого момента она держалась естественно, официально и корректно, мы беседовали как коллеги по факультету. И вдруг все переменилось: ей стало неловко, и она сказала, что должна идти. Тогда я дал ей понять, что чувствую себя чужим в этом огромном университете, одиноким, ничего не знающим и даже чуть-чуть напуганным, и попросил ее выпить со мной чашку кофе с сэндвичем. Она призналась, что еще не обедала, а я признался, что не знаю даже, где находится факультетская столовая.

Ей понравилась роль всезнайки, даже если это касалось местоположения пункта питания, и мне показалось, что стеснительность ее проистекает не от сдержанности в поведении, а от неумения находить общий язык с мужчинами. Есть женщины, у которых это неумение с возрастом становится болезненным, и мне вдруг пришло в голову, что слишком скоро настанет миг, когда она превратится в профессиональную холостячку, как она уже стала профессиональным преподавателем. Она высохнет, погрузится в себя и высосет себя до капли. Природа не обделила ее ни красотой, ни женственностью, но ей не хватало способности осознавать наличие того и другого и заставлять окружающих ощущать это.

Когда мы зашли в столовую, она поздоровалась кое с кем из присутствующих, но меня им не представила. Каждый из нас взял чашку кофе, сэндвич и кусочек пирога, после чего мы нашли пустой столик. Филлис объяснила, что еда здесь доброкачественная, но не очень вкусная. Хорошо, однако, было то, что никуда не надо бежать, чтобы

поесть, и поскольку здание было построено в псевдогоготическом стиле и столовую засунули в полуподвал, там, по крайней мере, прохладно летом.

— Если вы, конечно, не сбежите от нас до жары.

— Как знать. Будущее мое пока что не слишком определенно. Мною просто-напросто заткнули дыру. Я своего рода человек со стороны. Профессор Горленд, правда, обещал, когда настанет время, поговорить более определенно о моем будущем.

— А вот теперь вы совершенно не похожи на преподавателя, — улыбнулась она. — Не знаю, почему, но это так.

— Наверное, потому, что я не настоящий преподаватель. По крайней мере, сейчас.

— Да, похоже. — Она опустила глаза и принялась за еду.

— Я читал вашу статью о рефракции, — сказал я.

— Где вы ее откопали?

— У вас в библиотеке. Статья очень дельная.

— Понимаете, она не слишком оригинальна. Тем не менее я рада, что ее кто-то прочел. Мне иногда приходится в голову, как должен чувствовать себя автор, публикующийся в массовых изданиях, где его могут прочесть миллионы, а не двадцать человек, как у нас.

— Зависит от того, что вы пишете.

— Наверное.

В этот момент грузный 50-летний мужчина с багровым лицом подошел к нашему столику, держа в руках заставленный поднос, и обратился к Филлис:

— Это и есть наш новичок? Познакомьте нас!

— Профессор Ванпельт, — представила она. Я встал и пожал ему руку. — А это мистер Клэнси, наш новый преподаватель.

— Рад с вами познакомиться, Клэнси, — произнес Ванпельт, качая головой. Улыбаясь, он весело спросил: — Можно к вам сесть?

— Пожалуйста.

Он уже отодвинул стул. Либо он голодал целую неделю, либо был обжорой. Поднос ломился от еды: заливная говядина, картофельные оладьи, картофельное пюре, яблочный соус, двойная порция хлеба, четыре звездочки масла, огромный кусок шоколадного торта. Ванпельт набросился на еду и разговаривал с полным ртом.

— Слышал, что вы раньше занимались исследовательской работой, Клэнси. Черт, если бы я работал в крупном заведении и получал двадцать пять тысяч в год, только бы меня тут и видели! Какой прок от преподавания? Убедился на собственном опыте. Заходишь в аудиторию, горишь желанием поделиться знаниями, а перед тобой сидят самодовольные юнцы, которым на все наплевать. В общем, не позволяйте им ездить на себе верхом, как они ездили на Хортоне.

— На Хортоне?

— Ну, на вашем предшественнике, профессоре Алексе Хортоне, да покоится он в мире!

— Как вы жестоки! — выпалила Филлис. — Он жив!

— Он ни жив, ни мертв. Его нет ни на том, ни на этом свете, —

пробормотал Ванпельт, предварительно набив рот заливной говядиной. — Что вам рассказали о нем, Клэнси? Что он подал заявление об уходе?

— Как я понимаю, он ушел по причинам личного характера. Меня это не касается.

— Не говорите. Не может быть, чтобы вы, проведя больше суток у нас в университете, оставались в полном неведении. Вы что, всерьез хотите убедить меня, что вас так никто и не посвятил в прелести и загадки исчезновения Хортон?

Я смотрел на Филлис. Лицо ее побелело, напряглось, ожесточилось. В университете, как и в армии, существуют порядок отдачи приказов, последовательность старшинства и точные, четкие правила протокола. До меня уже дошло, что для Филлис Гольдмарк Ванпельт был прямым начальником. Она ответила тихо и продуманно:

— Я полагаю, что не наше дело вмешиваться во все это. Если мистеру Клэнси надлежит знать то, чего мы не знаем, то пусть его проинформируют те, кому это положено.

— Чушь! — брякнул Ванпельт. — Он уже совершеннолетний, или я ошибаюсь? Дело в том, Клэнси, что профессор Александр Хортон в один прекрасный день покинул это помещение и исчез из поля зрения порядочных людей. Раз — и готово! И поэтому в наши скучные академические стены нахлынула орда людей из разведки, контрразведки, служб госбезопасности, полиции и прочих мест. Которые вдобавок раздобыли столько же информации, сколько бывает мяса на костях индейки после Дня Благодарения. Все шито-крыто. В газетах ни слова. Проходит четырнадцать, пятнадцать дней. В газетах опять ни слова, об Алексее ни слуху, ни духу. Ничего. Вся разведка сидит, разинув рот.

— Боюсь, что я ничего не понимаю.

— Мы тоже, — вмешалась Филлис. — И вообще никто. Не вижу смысла говорить об этом.

На следующий день мы с Филлис опять увиделись в столовой, и мне удалось пригласить ее на обед. Не знаю, помогли ли мне обстоятельства ускорить наше сближение, но она была одинока и в страхе. Не до такой степени, чтобы излить мне душу, — но ужас не оставлял ее. С другой стороны, положение мое не способствовало превращению в неотразимого поверенного женских тайн.

— Хотелось бы узнать у вас о Ванпельте, — начал я издали, но она тут же покачала головой.

— Не хочу о нем разговаривать.

— Он штатный профессор?

— Да.

— Чревоугодник? Обжора?

— Мистер Клэнси, — сказала она, улыбнувшись впервые за день. Улыбка у нее была теплой и неопределенной, сразу меняющей выражение лица. — Скажу вам, как старожил новичку: любые замечания личного характера имеют у нас тенденцию распространяться по кругу. В нашем заведении нет ни секретов, ни личных мнений. Вы, по-моему, человек очень милый и открытый.

— Спасибо.

И вновь опущенный взгляд, вновь отступление.

— На что вы намекаете?

— Вы только что назвали профессора Ванпелта обжорой. У вас всегда что на уме, то и на языке?

— Не всегда. Но Ванпелт ест, как свинья. Я таких видел. Но я никогда не позволил бы себе высказаться вслух на эту тему, если бы мне показалось, что вы его хоть чуть-чуть уважаете. Однако абсолютно ясно, что вы его не ставите ни в грош...

— Если не возражаете, я предпочла бы не разговаривать о профессоре Ванпелте, — перебила она меня, и я ушел от этой темы, мы заговорили о работе, она спросила меня, какими исследованиями я занимался в фирме "Консолидейтид Дайнэмикс", где согласно учетной карточке я работал до университета, а я ответил заранее заготовленными фразами и тут же постарался быстро перейти на другую тему, предложив, поскольку у меня больше не было занятий, прийти на занятия к ней, если они есть сегодня в расписании.

— Нет. Я сегодня тоже свободна.

— Не сочтете меня слишком назойливым, если спрошу, что вы собираетесь делать?

И снова улыбка.

— Ничего особенного, мистер Клэнси. В Музее современного искусства сегодня показывают "Великого диктатора". Я никогда не видела этого фильма и подумала, что стоило бы пойти, и вдобавок мне хотелось бы отвлечься на какое-то время от академической тишины. А вы любите Чаплина?

— Временами да, временами нет. Сегодня — да, если вы позволите пойти с вами, мисс Гольдмарк.

Она заколебалась на мгновение и бросила взгляд на золотое кольцо у меня на левой руке.

— Знаю, что в этом городе у вас никого нет, мистер Клэнси... — нерешительно заговорила она.

— Моя жена умерла два года назад, — ответил я. — Так что в этом городе у меня действительно никого нет, мисс Гольдмарк.

— Да?

Некоторое время мы молчали, затем она произнесла:

— Пойдемте. Мне будет приятно.

Я кивнул в знак согласия, но что-то насторожило ее в выражении моего лица, и она спросила, все ли в порядке.

— Все, все, — успокоил я.

— Вам нехорошо?

— Нет, нет, все в порядке, — ответил я. — Пойдем?

Она встала из-за стола, мы вышли из здания на территорию университетского городка, а оттуда на Бродвей, к станции метро. День был чудесный, прохладный, с запада дул свежий ветерок: в Нью-Йорке такие дни — редкость. Поскольку до начала сеанса времени еще было много, Филлис предложила пройтись пешком до следующей станции. Мы шли по Бродвею в южном направлении, и я дважды проверялся,

Рисунки Левона ХАЧАТРЯНА



стараясь делать это незаметно. Мне, однако, показалось, что она заметила, как я оглядываюсь. Когда мы зашли в метро на углу Сто третьей улицы, в наш вагон сел только один человек. В вагоне было пусто, и человек, вошедший вместе с нами, прошел в другой конец и сел напротив. Он был среднего роста, незаметной внешности, в аккуратном сером блестящем костюме и сером шерстяном пальто. Делал вид, что читал "Нью-Йорк таймс". Финансовый раздел. Курсы акций.

— Заметила, как вы оглядывались, — сказала мне Филлис.

— Да?

— Вам не кажется, что за нами следят?

Я улыбнулся и покачал головой. Филлис бросило в дрожь. Некоторое время она молчала, затем сказала:

— Обратите внимание на человека в нашем вагоне. Того, что сидит наискосок, с газетой и в сером пальто.

— А что в нем особенного, мисс Гольдмарк?

— Может быть, я дура, но вчера он уже попадался мне на глаза. Похоже, он ходит за нами по пятам, мистер Клэнси. Простите. Я болтаю, как истеричка.

— Вы не похожи на истеричку.

— Может так быть, что он действительно следит за нами?

— Чего не знаю, того не знаю, — ответил я.

В музее Филлис побежала в туалет, а я воспользовался паузой и позвонил на Сентер-стрит. Вышел на свой коммутатор и задал вопрос, не направили ли они своего сопровождающего.

— Не сегодня. А где вы сейчас?

— В актовом зале Музея современного искусства. Через двадцать минут будем смотреть "Великого диктатора". С мисс Гольдмарк. А когда сеанс окончится, мы постоим у входа в музей минут пять. Я буду уговаривать мисс Гольдмарк пойти со мной в ресторан. Если она согласится, мы направимся в маленькое немецкое заведение на Сорок четвертой улице. В "Голубую ленту". Оно находится между Шестой и Седьмой авеню. Скорее всего мы пойдем пешком.

— Вы заметили "хвост"?

— Похоже, да.

— Внешность?

— Среднеевропейская, пятьдесят лет, маленькие голубые глазки, тупой череп, рост пять футов восемь дюймов, родинка на левой щеке, явно не из тех, кто занимается физическим трудом, в сером блестящем костюме, черных туфлях, сером шерстяном пальто, белой рубашке, при темно-синем галстуке с диагональной светло-голубой полоской, галстук заколот голубой полосатой булавкой. Перчатки черные.

— А после ресторана?

— Думаю, что она пойдет домой. Если она не откажется, я ее провожу.

— Вы уверены, что за вами следят?

— Я рассказал все, что знаю. А не уверен ни в чем.

Но уверенность моя возросла, когда человек, ехавший с нами в

одном вагоне, оказался в том же ряду кинозала. К счастью, Филлис его не заметила. Фильм она смотрела с удовольствием; если бы она и там увидела этого человека, то не смогла бы расслабиться. Я поймал себя на мысли, что мне страшно хочется, чтобы она отдохнула и отвлеклась, и удивился сам себе, поскольку мой интерес был целенаправлен и подотчетен. Фильм я видел раньше. Чаплина люблю, но не принадлежу к числу тех, кто делает из него культ, а фильмы его считает абсолютной вершиной художественных и технических достижений. В конце концов, мне много о чем надо было подумать, а я вдруг задумался о жене. Вот о чем мне вовсе не хотелось думать!

Человек в блестящем сером костюме ушел из зала, не дожидаясь нас, так что Филлис его не заметила; и вот по окончании фильма мы встали перед входом в музей. Как я и предполагал, уговоры заняли некоторое время. Филлис вначале возражала, уверяя, что ей надо домой, что ее ждут мама и работа, но слова звучали неубедительно. Как и многих не верящих в свою привлекательность женщин, ее приходилось убеждать с особым пылом. Чтобы она не беспокоилась, я посоветовал ей позвонить домой, дав понять, что я никогда по вечерам не ем дома. Она наконец согласилась и отправилась к автомату. Я закурил. Через дорогу, у крытой стоянки, обслуживавшей музей, стоял человек. Не тот, что был в сером блестящем костюме, а профессионал, и этот профессионализм у него на лице написан. У нас прекрасные работники, но вычислить их ничего не стоит.

Вернулась Филлис, и мы пошли по направлению к Шестой авеню, повернули и направились в сторону центра. Над нами вечернее, серо-голубое небо, с рваными облаками, как это часто случается в марте. Облака проносились, как сумасшедшие гуси. Небо разрезали длинные лучи заката. Филлис остро реагировала на погоду. Ее охватило беспокойство. Изящная и стройная, она шла четким, уверенным шагом, оживленная и возбужденная. Филлис не думала о себе, пока не перехватила мой взгляд: она тут же покраснела, а краснела она легко.

— Не жалеете меня, мистер Клэнси, — вдруг сказала она. — Не надо.

— С какой стати вас надо жалеть, мисс Гольдмарк? — взорвался я. — Боже, как вам такое пришло в голову?

— Я не собиралась обижать вас...

— Обижать? Вот еще! Я просто не вижу смысла в ваших словах. Мне было так хорошо сегодня днем! А вам?

— Мне тоже. Мне так понравился фильм! И с вами мне было так хорошо...

— Тогда к чему разговор о жалости?

— Сама не знаю. Сказала — и все.

— Больше так не говорите, когда мы вместе.

— Не буду.

— Запомните раз и навсегда!

— Постараюсь. — И улыбка вновь осветила ее лицо.

Мы заказали ужин. Ресторан недорогой, в пределах возможностей преподавателя, и еда хорошая. Мы оба проголодались во время прогулки, а холодный вечерний воздух вернул нас к жизни. Чувство про-

стое и в то же время неповторимое — вдобавок давно мною забытое. Оно не исчезло, когда Филлис заговорила обо мне и моей жене.

— Вы ведь питаетесь в одиночестве, мистер Клэнси, — вспомнила Филлис. — Неужели у вас совсем нет близких? Или вам неприятен разговор на эту тему?

— Мне приятно говорить с вами на любую тему, мисс Гольдмарк. Или мне можно называть вас Филлис? Знаете, в любом другом месте Соединенных Штатов и на любой другой работе мы бы давно называли друг друга Филлис и Том. Зато, если я правильно усвоил дух Никербокерского университета, мы бы еще года два обращались друг к другу "мисс Гольдмарк" и "мистер Клэнси". Да?

— Конечно, вы правы, — улыбнулась она.

— Тогда зовите меня Том, а я буду звать вас Филлис. Устраивает?

— Вполне.

— Прекрасно, Филлис. И я вовсе не против поговорить о близких. У меня есть брат, полковник, он служит в Корее. У него жена и двое детей, которых я никогда не видел. Его же я видел в последний раз семь лет назад. Меня он считает непрактичным "яйцеголовым" дураком. Я же не испытываю к нему ни хороших, ни дурных чувств. Еще у меня есть сестра. Она замужем, живет в Филадельфии. У ее мужа самое крупное в городе агентство по торговле "бьюиками". Он хорошо обеспечен. Детей у них нет. С сестрой я вижусь примерно раз в год. Отец и мать умерли. Родился я на Бруклинских Высотах, учился в школе "Нью-Утрехт", где выяснилось, что у меня математические способности, благодаря чему я получил стипендию Нью-Йоркского университета, куда я поступил на инженерный факультет и специализировался в области физики. Защитился в 1941 году, после чего пошел в армию... — На этом мой рассказ оборвался. Филлис слушала внимательно и вдумчиво.

— Станный вы человек, мистер Клэнси, то есть Том.

— Все мы не без странностей, Филлис. Станные мужчины, странные женщины. Философы, которым грош цена в базарный день, святые и идиоты...

— У вас не было детей?

— Я был женат всего несколько месяцев, когда моя жена заболела. Она умерла от лейкемии.

— Какой ужас!

— Да...

Что тут скажешь? Смерть ужасна; но смерть, облеченная в одеяния мистической загадочности, страхов и человеческой злобы, еще хуже.

Я проводил Филлис домой примерно в девять — она жила на Сто семьдесят четвертой улице между Бродвеем и Форт-Вашингтон-авеню, а потом поехал в центр, к себе, в двухкомнатную квартиру в переустроенном старом доме из коричневого камня на Западной Шестьдесят восьмой улице. У меня хорошая квартира, с высокими потолками, гостиная площадью двадцать на шестнадцать футов, кухня, ванная, спальная примерно восемь на десять; но в моей квартире присутствовали вещи, мысли и мечты женщины, умершей два года назад и более не способной мечтать. Там же жила моя память о ней,

питавшаяся одиночеством и разочарованием. Я подумывал, не съехать ли мне, но больна была не квартира; болен был я сам, и куда бы я ни переехал, боль и горечь последовали бы за мной.

Придя к себе, я сварил кофе, выкурил сигарету, прочел статью о ядерном синтезе, главу из Ферми, принял душ и лег спать. Я лежал, страдаю от одиночества и заснул только в третьем часу.

На следующий день я пошел на лекцию Филлис на тему "Свет как частица", а потом мы снова вместе выпили кофе с сэндвичем. Мне показалось, что она ждала этого с нетерпением: ей это доставляло хоть какую-то радость. Перекусив, я должен был встретиться с профессором Горлендом, который предупредил меня, что для соблюдения внешних формальностей и с учетом моих реальных возможностей дает мне семинар из двенадцати студентов. Я попросил его дать мне пару дней, чтобы обдумать его предложение. Потом я почти час поработал в библиотеке и, когда уходил оттуда, столкнулся с профессором Ванпелтом.

— Да снизойдут на вас все блага утренней свежести, Клэнси!

— Рад вас приветствовать, сэр! — кивнул я в ответ.

— Как пышный цветок среди увитых плющом стен, рад вашему приветствию, Клэнси! Вы пьете? С такой-то фамилией — и не пить? Хлебнем пойла?

— С удовольствием, — согласился я, и мы пошли по Бродвею в бар, где Ванпелт был завсегдатаем. Он заказал джин и аперитив, а я — шотландское виски со льдом. Он спросил, понравился ли мне университет, а я ответил, что трудно разобраться за такой короткий срок. Затем я спросил, что собой представляет Александр Хортон, поскольку именно он, Ванпелт, упомянул его имя в позавчерашнем разговоре.

— Хортон? Мм-да... Он, знаете, по-викториански — не могу подобрать лучшего слова — ухаживал за вашей мисс Гольдмарк. Вы знаете, что она еврейка?

— Догадался, — произнес я трезвым голосом. Ведь я был Клэнси, человек бесчувственный и рассудочный. — Вы сказали, что он исчез?

— Как королева языком слизнула, — ухмыльнулся Ванпелт, не сводя с меня пронизывающего взгляда. Хотя он и жирный обжора, но под слоем жира скрывались твердость характера и бесстрастность анализа.

— Если я правильно понял, в его исчезновении есть что-то загадочное...

— До предела загадочное. И все тут.

— А на что вы намекали вчера?

— Да ни на что. Гусей дразнили. Вы-то ведь не собираетесь так же исчезнуть, как Хортон?

— Пока что нет.

— Пока что? Послушайте, Клэнси, а чем конкретно вы занимались в Рочестере?

— В Рочестере?

— А разве вы не сказали мне, что работали в исследовательской группе фирмы "Консолидейтид Дайнэмикс"?

— Я?

— Ну, не вы, так слухами земля полнится. Полагаю, вы там занимались чем-то совершенно секретным?

— Ошибаетесь, — улыбнулся я. — Всего лишь тяжелой водой.

— Тяжелой водой. Это обнадеживает.

— Еще поговорим на эту тему, — кивнул я в знак согласия. — Боюсь, что мне пора.

— Пожалуйте мятных лепешек. Горленд помешан на огненной воде. Тяжелая вода — огненная вода. Прекрасное сочетание? Возьмите лепешку.

Я взял у него лепешку и попытался заплатить за выпивку, но он и слышать об этом не желал. Затем я вернулся в университет, прошел в крохотный кабинет, ранее принадлежавший Александру Хортону, и связался с коммутатором на Сентер-стрит.

— Включите запись, — попросил я.

— Запись включена, Клэнси. Можете говорить.

— Мне требуется максимально исчерпывающая информация о Джоне Ванпельте, штатном профессоре Никербокерского университета, возраст примерно пятьдесят лет, вес два двадцать, легкий иностранный акцент: "г" похоже на "к", голубые глаза, лысый, седина на висках и затылке, золотая коронка на одном из верхних зубов, склонен к обжорству — возможно, давняя привычка. Завтра у меня будет его фотография.

— Все?

— Пока все.

Затем я пошел к Горленду и попросил дать мне на время фотографию Ванпельта.

— Ну, мистер Клэнси, — сказал он, — у нас тут учебное заведение, а не хранилище личных дел с фотографиями.

— Да, конечно, — согласился я. — Но может быть, его фотография есть в каком-нибудь научном ежегоднике?

Горленд закричал и полез на полку. Покопавшись, он выудил том ежеквартальных ученых записок, на одной из страниц которого была маленькая фотография Ванпельта.

Вечером, когда я вошел в свою квартиру на Шестьдесят восьмой улице и зажег свет в гостиной, меня ждали двое. Один из них сидел в капитанском кресле, купленном нами во время медового месяца в Кейп-Код. Такие, крепко сбитые, не любят кресел с обивкой. Сидел он прямо, вытянувшись, настороже. Лицо узкое, длинное, одет аккуратно, в руках огромный "люгер". Другой устроился на диване. Двести фунтов плеч и мускулов. Возраст — на пороге среднего. Мясистый затылок, плечи чересчур крупны, над воротничком семнадцатого размера голова истинно американского атлета, седоватые, подстриженные военному волосы, румянец на щеках от спиртного, а не от избытка здоровья, в огромной ручище, похожей на окорок, служебная модель сорок пятого калибра. Заведомо ненужное оружие, ибо он превосходил меня по весовой категории. Но он держал револьвер в руках

мертвой хваткой, улыбкой приветствуя меня в моем собственном доме.

— Какой сюрприз! — сказал он. — Прямо как в кино.

— Прямо как в кино, — повторил я.

— Чем строить из себя клоуна, лучше бы проверил, нет ли у него оружия, — сказал сидящий в капитанском кресле. — По всем карманам, Джеки. — Акцент был испанский или португальский.

— Есть, сэр, слушаюсь, мистер Браун, — ответил Джеки уважительно и в то же время насмешливо, как бы отрицая, что он — всего лишь мускульная сила. Легко и грациозно он зашел мне за спину, провел рукой у меня под мышками, проверил карманы. — Оружия нет, — объявил он.

— Так я и думал. Что бы сказали в университете, если бы у профессора оказалось оружие? Мы обыскали вашу квартиру. Где ваше оружие?

Я пожал плечами.

— Садитесь, мистер Клэнси, — сказал он, указав на кресло из фильмов Хичкока, подаренное моей покойной жене Хелен ее бабушкой. Я сел и стал ждать. Говорил мистер Браун. Он спросил, знаю ли я, зачем они пришли сюда.

— Понятия не имею.

— И не догадываетесь, мистер Клэнси?

— Гадать-то я могу. Хоть всю ночь. Вы пришли именно за этим? — Я вдруг заметил типичный, битком набитый бухгалтерский портфель, стоящий рядом с мистером Брауном.

— Нет, ночью нам тут делать нечего, — последовал ответ. Одновременно "люгер" был убран в плечевую кобуру. Помощник получил указание: — Убери пушку, Джеки. Мы же не у обезьяны. Мы у культурного, цивилизованного человека. Я посмотрел, что у вас за книги, — объяснил он. — Культура и знание физики далеко не синонимы, и мы оба это знаем. Но если посмотришь книги, то видишь мозг и душу их владельца. Человек познается по кругу чтения. Человека творит слово.

— Большинство книг принадлежало моей жене, — сказал я.

— Восхищаюсь американцами. В ответ на комплимент они становятся циничными и вульгарными. Они стремятся соответствовать какому-то заданному имиджу. Но мы пришли не для разговора о книгах, мистер Клэнси. Мы пришли дать вам взятку. В конце концов, мы не дипломаты. Зачем нам дипломатический обмен ничем не значащими любезностями? Мой принцип — брать быка за рога. Те, на кого я работаю, полагают, что у каждого человека своя цена. В портфеле, что стоит рядом со мной, семь тысяч пятьсот двадцатидолларовых бумажек. Деньги чистые, не краденые, нигде не учтенные, тратить их можно безо всякой опаски. Сто пятьдесят тысяч долларов — такую вам назначили цену.

— Польщен.

— А как же? Кому бы не было лестно? А с учетом федеральных налогов у вас целое состояние. Уж поверьте мне. За такие деньги совершались страшные вещи.

— А как мне отработать эту сумму? За что мне причитается такая взятка?

Он покачал головой.

— Разве этот вопрос нуждается в обсуждении? Я не собираюсь вступать в утомительную дискуссию на этические темы. И не собираюсь спрашивать, возьмете ли вы взятку. Ее вам уже дали. Выбора у вас просто нет. Итак, никаких вопросов, поскольку мы знаем все, что нам надо знать. Мы знаем, куда вы ходите и чем занимаетесь. И если мы за что-то платим, то получаем соответствующий эквивалент. Все понятно, мистер Клэнси?

— Нет. Не все понятно.

— Зато понятно нам, мистер Клэнси. Просьба некоторое время не покидать помещения. Деньги в портфеле.

Тут они встали, вышли и закрыли за собой дверь. Предельно просто. Я запер дверь на засов и взял портфель. Он был до отказа набит пачками двадцатидолларовых бумажек. У меня не было ни малейшего сомнения, что их ровно семь тысяч пятьсот.

Было девять часов. Я позвонил на коммутатор на Сентер-стрит и передал то, что хотел. Я сказал, что через тридцать минут уйду из дома, пройду по Коламбус-авеню и два квартала к северу до Семидесятой улицы. Мне нужно, чтобы на Семидесятой меня подобрало движущееся в восточном направлении такси. Там должен сидеть надежный человек. И еще я попросил предупредить начальника полиции Камедея, что зайду к нему, как только приеду на Сентер-стрит.

Мне ответили, что начальник у себя и будет меня ждать, но что выходить нужно через час, иначе они не успеют организовать такси с водителем и направить его на Семидесятую улицу. Меня предупредили, что такси будет иметь внешнюю разметку фирмы "Грин чекерз" и пересечет Коламбус-авеню в течение шестидесяти секунд после десяти часов. Мы сверили часы, а я решил обязательно напомнить им проверить мой телефон на подслушивание.

Затем заварил крепкого черного кофе, выпил чашку, выкурил сигарету и задумался. Думы не были ни приятными, ни продуктивными, и, как и все мои думы недавнего времени, не содержали определенных и решительных выводов. Затем я подошел к портфелю, вынул из него все и запихнул семьдесят пять пачек двадцатидолларовых банкнот под рубашку — сто пятьдесят тысяч долларов легли мне на сердце и шкуру. Рубашка вздулась, но пиджак прижимал деньги, а плащ-реглан скрывал горб. Я спустился, держа руки в карманах, прошел Коламбус-авеню и двинулся на север. Теперь я уже не проверялся. И ровно в десять оказался на углу Семидесятой улицы, и как только встал на углу, зажегся зеленый, и такси фирмы "Грин чекерз" пересекло Коламбус-авеню. Я остановил его, и, когда сел, водитель спросил:

— Клэнси?

— Вы не ошиблись. — Сердце яростно стучало, когда я захлопнул дверцу и устроился на заднем сиденье. Такси поехало по Семидесятой. Когда мы подъехали к Центральному парку с запада, появились еще две машины.

— Что делать? — спросил водитель.

— Повернем направо, а затем сделаем разворот. Хочу проверить, не слежка ли это.

Одна из двух машин — "бьюик" с откидным верхом — повернула направо. А когда мы, сделав разворот, выехали на полосу встречного движения, "бьюик" продолжил путь на юг.

— Чисто, — сказал я. — Поехали в центр. — Тут я откинулся на сиденье, закурил и с удовольствием затянулся.

Для меня интересным оказалось сопоставление только что пережитого безумного страха и вдруг возникшего чувства уверенности. По дороге в центр я подумал, что следует попросить оружие. Я никогда не любил оружие и никогда ему не доверял, но до меня дошло, что нынешний страх — только начало, продолжение не замедлит. Оружие — символ, так же как символом являются хрустящие бумажки под одеждой.

На Сентер-стрит ожидал офицер в форме. Он проводил меня в кабинет начальника. Начальник полиции Камедей был не один: вместе с ним меня ждал Сидней Фредерикс из департамента юстиции.

— Садитесь, Клэнси, — сказал начальник, кивнув на одно из коричневых кожаных кресел. — Полагаю, что приехать сюда было абсолютно необходимо?

— Я счел это наилучшим вариантом, сэр, — ответил я, но прежде чем сесть, снял плащ, расстегнув пиджак, и стал вынимать деньги из-под рубашки, выкладывая их на письменный стол. Потом сел. Камедей и Фредерикс занялись деньгами.

— Как много денег! — сказал Фредерикс.

— Полагаю, вы нам о них расскажете, — добавил Камедей.

Я рассказал. Обо всем, что произошло. Дал подробное описание обоим гостям. Слушали меня внимательно, а когда я кончил, настала пауза. Прервал ее Камедей, позвонив по внутреннему телефону и вызвав нашего главного "валютчика" Джекобса. В ожидании его прихода Фредерикс задал вопрос о характере испанского акцента мистера Брауна.

— Думаю, что даже под присягой смогу утверждать, что акцент Брауна скорее всего испанский, — пояснил я. — Но поймите: скорее всего. Акцент может быть и португальский. И даже итальянский, или румынский, или французский. Не знаю, почему, но мне все-таки кажется, что акцент испанский. Интуиция. Как только он начал говорить, я уловил именно этот акцент. Это вовсе не значит, что сам он испанец. Речь идет только об акценте.

— Акцент замечен?

— Нет, сэр. Акцент неяркий.

— А разговаривает он, как иностранец? Ну, грамматически: не строит ли он фразы на иноязычный лад?

— Нет. Его английский безупречен. Немного вычурен, но абсолютно правилен.

— Портфель остался дома?

— Да, на случай наружного наблюдения. И еще: я был бы очень признателен, сэр, если бы мой телефон проверили на постороннее подслушивание.

Камедей записал что-то. Фредерикс покачал головой и заметил:

— Портфель бы нам ничего не дал. Эти люди аккуратные. Что вы думаете по поводу отпечатков пальцев, Клэнси?

— То же, что и вы, сэр. Эти люди аккуратные.

Тут вошел Джекобс, худой, близорукий, за пятьдесят. Очки в металлической оправе, клок седых волос зачесан вверх, на лысину. На фоне грузного, похожего на бульдога Камедея он выглядел тщедушным. Фредерикс глядел на него с нескрываемым интересом. В определенных кругах Джекобс пользовался заслуженной репутацией.

— Поглядите-ка на эти деньги, Джо, — попросил Камедей.

Джекобс подошел к столу, раскидал пачки, провел пальцами по краям нескольких из них, затем вытащил наугад по банкноте из каждой пачки. Изучал он их осмысленно и вдумчиво.

— Итак? — подгонял Камедей.

— Здесь семьдесят пять пачек, — подытожил Джекобс. — В каждой по сотне банкнот. Предупреждаю, оценка выборочная, сплошного подсчета я не производил. В общем, предполагаю, что здесь сто пятьдесят тысяч долларов.

Фредерикс кивнул и чуть-чуть улыбнулся.

— Деньги чистые? — спросил Камедей.

— Сам бы от них не отказался. Настоящие: выпущены в Вашингтоне правительством Соединенных Штатов. Ясно как божий день.

— Они не краденые? — задал вопрос Фредерикс. — Или сейчас вы не в состоянии дать нам точный ответ?

— Да нет, в состоянии, — ухмыльнулся Джекобс. — Думаю, что с ними все ясно. — Он провел пальцем по краю еще нескольких пачек. — Нет-нет, они не ворованные. Конечно, можно сделать проверку. Но если вы хотите знать мое мнение, то осмелюсь утверждать, что эти деньги не ворованные.

— Почему вы так думаете?

— Эти деньги выпущены в обращение в текущем году. Я специально слежу за движением краденых сумм. За последние двенадцать месяцев не было краж наличных в двадцатидолларовых купюрах, сумма которых составила бы сто пятьдесят тысяч долларов. Это, правда, не значит, что какая-то часть денег не может быть из числа краденых. Но я в этом сомневаюсь. У меня такое ощущение, что это хорошие деньги.

— Хорошими они быть не могут, — заметил Камедей.

— Ну, вы поняли, что я имею в виду.

— Спасибо, Джекобс, — отпустил его Камедей. — Вечером вы их получите. Жду от вас детальной справки.

Джекобс вышел, и мы опять погрузились в молчание. Так мы и молчали, пока не заговорил Камедей:

— Большие деньги. Взятка. Так или не так?

— Именно так, — согласился я.

— Какое мерзкое, паскудное дело! — вдруг воскликнул Камедей.

начальник полиции города Нью-Йорка. Меня эта вспышка даже немало удивила.

— Трудное, — согласился Фредерикс.

И опять молчание. Наконец Камедей спросил:

— Что вы думаете по этому поводу, Клэнси?

— Ничего.

— Есть какие-нибудь результаты?

— Не знаю. Дело не из приятных и ни на что не похоже.

— Для нас тоже это дело не из приятных.

— Знаю, сэр, меня не касается, но не могу не задуматься над тем, что по этому поводу думают другие. Конечно, вы вправе приказывать мне заниматься своим делом...

— Мы в пустоте, Клэнси. Никаких новостей.

— Ясно. А в Москве, сэр, то же самое?

— Насколько нам известно, да. Кстати, Клэнси, сюда приезжал один из главных их оперативников по линии госбезопасности, и ему хотелось бы увидеться с вами. Его зовут Дмитрий Гришев, и он полагает, что вам стоит приехать к ним на Парк-авеню.

— Что это даст?

— Понятия не имею, — произнес Камедей с долей раздражения. — Но хуже от этого не станет.

— А если за мной "хвост"?

— Вы же полицейский. Сделайте так, чтобы не было "хвоста".

— Да, сэр. А что вы думаете насчет взятки?

— А что такого?

— Да так. Хотелось бы знать побольше. А то чувствуешь себя как в полуночном тумане.

— Мы чувствуем себя точно так же, — улыбнулся Фредерикс.

Выходя из кабинета, я задержался в дверях и сказал:

— С вашего разрешения, еще кое-что.

— Давайте.

— Мне бы хотелось иметь при себе свое оружие.

— Зачем?

— Я все-таки на службе.

— Оружие может все испортить.

— Знаю.

— Вам очень надо?

— Очень, — подтвердил я.

— Ладно. Заберете на выходе.

Часть вторая

ТОМАС КЛЭНСИ

Второй раз в жизни я оказался в кабинете начальника полиции. Пятнадцать дней назад я был просто детективом, сержантом Томасом Клэнси из нью-йоркской городской полиции, прикомандированным к

отделу по расследованию убийств, имеющим хорошую — и всякую другую — репутацию, считающимся грамотным работником с перспективами на продвижение по службе. Пять футов одиннадцать дюймов; сто семьдесят фунтов; голубые глаза, шатен, с высшим образованием. Мне все время говорили, что меня ждет прекрасное будущее. Сам же я таким оптимистом не был. Прошное перевешивало будущее. Я был на войне и пришел оттуда другим. Я учился, чтобы приобрести специальность и сделать карьеру, но отказался от этой мысли, потому что для меня она оказалась отравлена; я женился на женщине, которую любил так, как вообще можно любить, и оказался свидетелем ее умирания. Мне тридцать семь лет, и я ничего не жду, ничего не желаю, ни на что не надеюсь. Живу в одиночестве, иногда читаю, иногда хожу в кино. Люблю суточные дежурства, и если три дня подряд оказываюсь вне дома с электрической бритвой и тостом с ветчиной, не жалуясь. Благодаря этому я стал хорошим полицейским.

Но вдруг несколько недель назад меня вызвали к самому начальнику полиции на Сентер-стрит. Я приехал туда в два часа дня, и секретарь тут же доложил начальнику, что детектив Клэнси прибыл. Мне было приказано ждать. В течение тридцати пяти минут я внимательно изучал бюджет города Нью-Йорка, а затем меня пригласили войти.

В кабинете начальника стоит стол из красного дерева, за которым проводятся совещания на высоком уровне и, как я полагаю, ведутся бесконечные дискуссии на тему, почему управление полиции до сих пор не может превратить самый большой и населенный самыми разными людьми город в мире в декриминализированный эквивалент городка Прити-Вэлли в штате Вермонт. Когда я вошел, за столом красного дерева сидели шестеро. Если не ошибаюсь, слева направо — полицейский-стенограф Джозеф Маджио; за ним Джон Камедей, начальник городской полиции; потом Артур Джексон, в золотых очках, полный, похожий на банкира сотрудник Центрального разведывательного управления; рядом с ним Сидней Фредерикс из департамента юстиции, то есть из Федерального бюро расследований, о котором я уже говорил; потом Джером Грин, мэр Нью-Йорка; и, наконец, сенатор Хайрем Ю. Доус, председатель сенатской комиссии по вопросам внутренней безопасности.

Когда я вошел, все повернулись в мою сторону, но лишь Джон Камедей встал и предложил мне сесть на свободное место. Некоторые черты характера начальника мне понравились. Были у него и другие черты, которые я потом возненавижу.

— Садитесь, Клэнси, — сказал он мне и поочередно представил всех сидящих за столом. Они кивали, и лишь один Фредерикс, сидевший рядом со мной, потрудился пожать мне руку; остальные были встревожены, а когда человек встревожен, он забывает про мелочи хорошего тона.

— Мы вызвали вас, Клэнси, — начал Камедей, — потому что нам требуется полицейский определенной квалификации. Может быть, еще пара-другая сотрудников городской полицейской службы обладают подобной квалификацией, но время не ждет, и в результате



беглой проверки мы выбрали вас. Вопрос, однако, заключается в том, что все мы занимаемся делом особой секретности. Судя по составу собравшихся здесь людей, вы можете заключить, что речь идет о деле государственной важности, затрагивающем благополучие всей нации, а также, конкретно и локально, благополучие города и его жителей. Может быть, мы имеем дело с самым отвратительным происшествием за всю нашу историю, а может быть, и нет. Это следует установить. Дело крупное, но до настоящего момента суть его известна не более чем тридцати пяти лицам. Это необходимо и важно по причинам, которые вы вскоре узнаете. В печать ничего не просочилось и не должно просочиться. Все сказанное здесь является сугубо доверительной информацией. Вам понятно?

Я кивнул.

— Следовало бы получить более четкие гарантии, — вмешался сенатор Доус.

— В более четких гарантиях нет необходимости, — пожал плечами Камедей. — Человек дал слово. Этого достаточно.

— Расскажите о себе, — попросил сотрудник ЦРУ Джексон. Это прозвучало банально, но так звучало все, что бы он ни говорил.

— А что именно?

— Они знают вашу официальную биографию, — объяснил Камедей. — Расскажите, что считаете нужным.

— Я родился и вырос в Бруклине. Там окончил среднюю школу, затем поступил в Нью-Йоркский университет...

— Нам это известно, — перебил Джексон. — Вы не были в молодости членом радикальных организаций: лиги молодых социалистов, комсомола?

— Когда я окончил среднюю школу и учился в университете, я работал. У меня не было времени.

— Только времени? А как насчет убеждений?

— Когда я учился в университете, я работал восемь часов в день. Тут не до убеждений.

— Есть один интересующий меня вопрос, — вмешался сенатор Доус. — Согласно объективным данным, вы были студентом-отличником. Ваши математические способности были признаны исключительными. Вы специализировались по физике. Нам известно, что вы написали исключительно интересную работу по вопросам космической радиации...

— Она не оригинальна, — пояснил я. — Я произвел обзор других работ и позволил себе сделать ряд далеко идущих выводов.

— И все же у вас отмечался талант и даже научный блеск. Однако, когда окончилась война, вы предпочли пойти работать в нью-йоркскую полицию. И это в тот момент, когда нация нуждалась в поддержке каждого из ученых!

— Да, сэр. Таков был мой личный выбор.

— В такой момент, — резко произнес Джонсон, — нет ничего личного, детектив Клэнси!

— Это было одиннадцать лет назад. Я не хотел становиться ученым.

— Вы были в Хиросиме после бомбардировки, — мягко вставил Фредерикс. — Не повлияло ли это на ваше решение?

— Да, — ответил я.

— Вы что же, считаете, мы были не правы, применив атомную бомбу? — промолвил сенатор Доус, но прежде чем я начал отвечать, заговорил Камедей:

— Прошу вас, джентльмены, помнить, что нас лимитирует время. При всем уважении к присутствующим не могу не высказать сомнения в правильности избранной вами тактики беседы. Нам нужен полицейский-физик. Мы никогда не сможем привлечь такого специалиста к работе, если не будем заранее исходить из той предпосылки, что у данного лица в свое время были достаточные основания изменить род занятий.

— А вопрос лояльности? — воскликнул Джексон.

— Уже одно то, что данное лицо находится на службе в нашем управлении, является свидетельством его лояльности, — отреагировал Камедей, не скрывая раздражения.

Мэр Грин развел руками.

— Минуточку, джентльмены. Осмелюсь обратить ваше внимание на вопрос совершенно иного рода. До нынешнего момента вся ситуация оставалась закрытой. Но если мы в кратчайший срок не придем к ответу на загадку, нам придется сделать ее достоянием гласности. Я вовсе не покушаюсь на прерогативы разведывательных и контрразведывательных служб, но хочу со всей ответственностью подчеркнуть, что в самом скором времени проблема может затронуть десять миллионов обитателей нашего города. Речь идет не о лояльности в узком смысле слова, речь идет о спасении.

— Согласен! — произнес сенатор Доус. — Мистер Клэнси, вы физик?

— Я полицейский, сэр. Физику я изучал много лет назад.

— А вы в курсе современных публикаций?

— В какой-то степени.

— Что вы знаете об атомной бомбе?

— То же, что и все.

— Наверняка больше. Вы ведь физик.

— Не намного больше, — сознался я. — Просто я понимаю не только физическую, но и математическую сторону процесса.

— Перейдем к делу, — вмешался Камедей. — Вы бы смогли сделать атомную бомбу?

— Что?

— Я спросил, смогли бы вы сделать атомную бомбу. Я задаю этот вопрос лично вам, Клэнси, с учетом вашей специальности. Вы полицейский, знающий физику. Итак, вопрос: в состоянии ли вы сделать атомную бомбу?

— Вы серьезно? — удивился я.

— В высшей степени серьезно. Мы все тут разговариваем всерьез. И ждем от вас серьезного ответа.

— Что ж. — Я глубоко вздохнул и кивнул головой. — Если вы

спрашиваете, в состоянии ли я получить плутоний-239 или уран-235, то есть два расщепляющихся элемента, из которых можно сделать бомбы простейшего типа, то я отвечаю — нет. И ни один отдельно взятый человек этого не может. Не может даже нация, если она не сделает крупные капиталовложения в оборудование, источники энергоснабжения и не овладеет процессом диффузии урановых руд.

— Это нам понятно, — с нетерпением произнес сенатор. — Вопрос, который задал мистер Камедей, заключается в следующем: смогли бы вы сделать атомную бомбу при наличии в вашем распоряжении исходных материалов, то есть плутония или урана-235?

— В одиночку? — рассердился я.

— Да, в одиночку.

— Ну, это зависит от многого. Скажем, если вы вдруг поручите мне сию минуту прямо здесь сделать бомбу, то должен сказать, что имею самое смутное представление о механизме бомбы. Придется сначала ознакомиться с литературой.

— Это нам ясно, — хмуро произнес Камедей.

— Тогда не знаю. Это опасное дело. Для меня, конечно. Но попробовать можно.

— Минуточку, — вмешался представитель ЦРУ Джексон. — Уж не хотите ли вы мне сказать, что можете получить все нужные вам сведения? Что вы сможете добыть информацию, предназначенную исключительно для служебного пользования?

— Эта информация не составляет служебной тайны, сэр, — сказал я. — И, тем более, она не секретна. Ее публиковали тысячу раз в тысяче различных источников. Любой компетентный физик знает, как изготовить атомную бомбу.

— Мы уже прорабатывали этот вопрос, мистер Джексон, — устало заметил Камедей, — и такой же ответ получили от десятка физиков. Наша задача — выявить возможности детектива Клэнси к удовлетворению всех представляемых нами организаций. Вы попросили, чтобы разговор шел в вашем присутствии. Разрешите продолжать?

— Не смею одобрить ваше отношение к делу, — отпарировал Джексон.

Тут на грани грубости вмешался представитель департамента юстиции.

— Одобряете вы или не одобряете чье-то отношение к делу, не играет существенной роли. Уж не вынуждаете ли вы меня лишний раз напомнить, что мое, а не ваше учреждение отвечает за вопросы внутренней безопасности? Надоел мне этот детский лепет. Детективу Клэнси задан вопрос. И я, как и все, жду ответа.

— Давайте, Клэнси, — обратился ко мне начальник.

— Видите ли, сэр, — осторожно начал я, — мне бы не хотелось повторять известные всем присутствующим истины, о которых знаю не один я...

— Исходите из того, черт возьми, что мы ничего не знаем! — рявкнул Камедей. — И будете недалеко от истины. Расскажите нам, какую бы вы сделали бомбу и как бы вы ее сделали.

— Ну, ладно. — Я оглядел присутствующих. Сенатор курил, и я тоже взял сигарету. Мне так хотелось закурить! Хотелось мне и попить, но чего не было, того не было. — Постараюсь не занимать слишком много времени и говорить понятным языком.

Тут сенатор улыбнулся, как бы заявляя: "Это мы еще посмотрим!" И я стал рассказывать.

— Мы говорим о процессе расщепления — о цепной реакции и атомной структуре расщепляющихся материалов. Результатом ее является взрыв огромной силы и скорости распространения при гигантском повышении температуры. И потому, как я уже сказал, для изготовления бомбы требуется при помощи крупного промышленного производства получить два вида пригодных для использования расщепляющихся материалов: уран-235 и плутоний-239. И если у нас есть эти два элемента, точнее, любой из них, что делать дальше? Организовать взрыв, введя лишний нейтрон в атомную структуру расщепляющегося материала. Я говорю достаточно четко и ясно?

Все закивали, не сводя с меня глаз.

— Итак, механизм взрыва следующий: будем считать расщепляющийся атом чем-то вроде мотора, работающего на больших оборотах. Запуская в него лишний нейтрон, мы как бы перегружаем его. Он становится нестабильным и распадается на куски с огромной силой, передавая эту нестабильность окружающим атомам. Вот что такое цепная реакция и атомный взрыв. Сам факт их существования объясняет отсутствие в природе концентрированных скоплений этих двух расщепляющихся элементов. Они слишком нестабильны. В окружающем воздухе масса блуждающих нейтронов...

— Мне неясно, откуда могут появиться эти ваши блуждающие нейтроны, — заявил сенатор.

— Смотрите, сэр. Один из источников — космическая радиация. Другой — радиоактивные вещества в почве, камне, воде. Даже кирпич испускает нейтроны. Уверен, что в этой комнате их сейчас тысячи. И в этом суть проблемы. Если бы перед нами на этом столе лежал кусок урана-235 размером с кубик сахара, мы были бы в безопасности. Поэтому что масса сахара оказалась бы недостаточной для уловления нейтрона, захвата его и начала физического процесса, называемого "структурным резонансом". Иными словами, нейтроны пролетают через кубик сахара, не становясь источником реакции. Такой маленький объем расщепляющегося материала называется "некритической массой".

А чтобы масса стала критической, то есть достаточно большой, чтобы обеспечить захват нейтрона и последующий взрыв, кусок урана-235 должен иметь диаметр не меньше десяти сантиметров или радиус около двух дюймов. Но, конечно, двухдюймовый кубик или шарик урана-235 может существовать лишь теоретически, поскольку в момент появления немедленно перестает существовать в результате атомного взрыва.

— Но они же существуют, — сказал мэр.

— Да, если под временем существования понимать отрезки, равные

одной десятитысячной секунды. В этом-то и заключается проблема бомбы. Я читал, что когда на заводе изготавливают плутоний или уран-235, они выпускаются тонкими листами менее критической массы и отделяются друг от друга кадмиевой или борной изоляцией: оба эти металла обладают свойством задерживать блуждающие нейтроны. И если такие пакеты погрузить в тяжелую воду, опасность сводится к нулю, поскольку тяжелая вода тоже улавливает нейтроны. Но вы задали мне задачу сделать бомбу. Итак, предположим, что у меня есть шестнадцать кубиков урана-235 каждый размером в половину дюйма. Я мог бы их разложить на столе по четыре с каждой стороны, но взрыва не будет. Чтобы получился взрыв, их надо собрать воедино.

— Но это же очень просто, — сказал сенатор.

— Нет, сэр, это, если разрешите мне сказать, вовсе не просто. Во-первых, материал сильно радиоактивен, так что при неосторожном обращении я получу неизлечимое поражение. Во-вторых, если я руками сгребу кубики в кучу, то произойдет частичный взрыв, достаточный, чтобы убить меня и разрушить это здание, но не больше. Видите ли, как только начинается цепная реакция, высвобождаемые нейтроны мчатся со скоростью восемь тысяч миль в секунду. Поскольку эти нейтроны проскакивают всего лишь несколько дюймов массы урана, то процесс мгновенно приходит к концу. Он начинается и завершается быстрее, чем мы в состоянии замерить время, и начинается он, как только любая часть массы становится критической. Иными словами, если я сгребу кубики, я, независимо от скорости сближения кубиков, добьюсь лишь частичного взрыва, причем в атомных масштабах небольшого. Не говоря уже о том, что сам погибну.

— А почему цепная реакция не перекинется на другие кубики урана? — спросил мэр.

— Потому что взрыв разбрасывает их еще скорее. Все дело в том, что некритические массы должны быть сведены воедино за те же доли секунды. Вот почему я не могу изготовить такую бомбу, которую можно сбросить с самолета. Для этого мне нужен механический цех и штат технических специалистов. Но пока я разговаривал с вами, я размышлял, какую же бомбу я в состоянии сделать. Пока что я ни в чем не уверен. Надо подумать. Но вот идея, которая сейчас пришла мне в голову: предположим, у нас есть двадцать некритических масс, заряженных в ружейные патроны. Предположим, что двадцать ружей смонтированы так, что все они нацелены в одну точку в пределах короткого расстояния, скажем, в масштабах этой комнаты. Тогда речь пойдет о чисто технической проблеме: как одновременно выстрелить из всех. И тут может получиться бомба, в чем я опять-таки не совсем уверен, поскольку мыслю обобщенно, в пределах того, что помню. Но это меня не утешает.

— Да, это никого не утешает, — согласился мэр.

Было задано еще несколько вопросов, прежде чем заговорил начальник полиции.

— Значит, вас не удивило бы, Клэнси, если бы я сказал, что есть люди, утверждающие, что сделали бомбу?

— Конечно, удивило бы. Но я об этом подумал.

— О чем подумали?

— Да о том, что кто-то сделал бомбу, — ответил я, одновременно думая, что из всего сущего я больше всего ненавижу бомбу и опасаясь именно ее.

— У вас получается слишком просто, — заметил Фредерикс, и я сказал сотруднику ФБР:

— Это почти так же просто, как получается у меня. — И добавил: — При условии наличия расщепляющихся материалов. — Настала краткая пауза, после чего заговорил Камедей.

— То, что я вам собираюсь сообщить, Клэнси, является секретом особого рода. Он может перестать быть секретом завтра, послезавтра или в будущем месяце; но пока это не произойдет, эти сведения так и будут представлять собой жуткий, мерзкий секрет, и вы обязаны считаться с этим. Ясно?

Я кивнул.

— Ладно, — продолжал он. — Начнем с человека по имени Александр Хортон. Это физик не из самых блестящих, не слишком талантливый в масштабах профессии. Но образованный, компетентный и совестливый.

— Я бы не назвал это качество совестливостью, — перебил его Джексон. — Предательство, неполяльность...

— Детектив Клэнси не нуждается в уроках политграмоты, — сердито произнес Камедей. — Я пытаюсь обрисовать человеческий характер, и всем нам будет лучше, если я дам исчерпывающую характеристику и мы поставим на этом точку. Буду благодарен, если вы постараетесь больше меня не прерывать. Если вам захочется рассказать собственную сказочку, вам будет предоставлено слово в свое время.

Джексон махнул рукой и сказал:

— Ладно, ладно, мне уже дали понять, чтобы я сидел смирно.

— Я сказал "совестливость", — повернулся ко мне Камедей. — Но нельзя не сказать и о других его качествах: возможной паранойдальности поведения, эмоциональной нестабильности, депрессивности. Подведем итог, Александр Хортон, возраст — сорок один год, пять футов десять дюймов, глаза голубые, худощав, даже изможден, физическое состояние неважное, чтобы не сказать хуже, окончил Мас-сачусетский технологический институт, получил докторскую степень в Корнеллском университете, стажировался в Принстоне, отслужил два года в армии, после чего был отозван для участия в "Манхеттенском проекте". По окончании войны пять лет проработал в Окридже, где заболел одной из разновидностей лучевой болезни. Был госпитализирован и два года лечился в больнице. Когда он поправился и вновь приступил к работе, на государственную службу уже не вернулся и пошел работать на факультет естественных наук Никербокерского университета, в нашем городе...

Я достал блокнот, но мой собеседник отрицательно покачал головой.

— Ничего не записывайте, а запоминайте. То, что я вам рассказываю, должно быть похоронено в вашем мозгу. А если есть вопросы, то не стесняйтесь их задавать.

— Прошу вас, продолжайте, сэр, — сказал я.

— Спрашивайте. Только не пишите.

— Понятно, сэр.

— Теперь о событиях лета прошлого года. В это время Хортон провел четыре недели в Великобритании. На эти же четыре недели пришелся гостевой визит делегации советских физиков по приглашению Королевского общества ядерной физики. Знаете такую организацию?

— Слышал о ней, — подтвердил я. — Сэр Джулиан Белл.

— Совершенно верно. Белл его председатель. Теперь поймите, что Хортон обладает определенной репутацией в научных кругах. Его пригласили на банкет, организованный Королевским обществом в честь русских, и его посадили рядом с русским физиком академиком Петром Симоновским. Они сразу же нашли общий язык. Симоновский великолепно говорит по-английски, так что они общались без переводчика. По окончании банкета они ушли вместе. Поехали в гостиницу к Хортону и проговорили почти всю ночь. В последующие две недели Хортон и Симоновский встречались на шести мероприятиях. И по меньшей мере один день целиком провели вместе.

Теперь о Симоновском. Ему пятьдесят три года, во время второй мировой войны был командиром танка, имеет награды за боевые заслуги. Как говорится в послужном списке, беззаветно предан Советскому государству. Был одной из ключевых фигур в деле развития советских атомных вооружений. Как и Хортон, близких родственников не имеет. Родители погибли в нацистском лагере. Жена и трое детей убиты при бомбежке в Киеве во время войны. О нем говорят как о вдумчивом, тихом и глубоко несчастном человеке.

Резюмируем. Теперь у вас, Клэнси, есть базовая информация об этих людях. А проблема, как таковая, возникла неделю назад, когда по почте пришли три одинаковых письма. Одно, адресованное Президенту Соединенных Штатов. Другое, адресованное государственному секретарю. Третье — мэру Нью-Йорка. Позднее вы получите для тщательного ознакомления копию. Поскольку письмо длинное, я подготовил вам краткое содержание его первой части. Подписано оно Александром Хортоном.

— А откуда оно отправлено?

— Из Нью-Йорка, с вокзала Морнингсайд. Зачитаю выдержки из письма:

«В результате всех моих дискуссий с господином Симоновским было принято решение всерьез приступить к тому, что мы поначалу называли невероятной интеллектуальной игрой. Полагаю, что фактор, сыгравший в пользу принятия этого решения, — это появившаяся возможность доступа к расщепляющимся материалам. Тщательная ревизия в Ок-

ридж выявит разницу между объемами производства и оприходованным количеством урана-235: она составит суперкритическую массу. Мне удалось получить эту массу в силу обстоятельств, которые я, естественно, не в состоянии раскрыть. Такой же успех выпал на долю господина Симоновского. Когда вы получите это письмо, оба механизма будут уже налажены: мой в сердце Нью-Йорка, Симоновского — в сердце Москвы. Краткая беседа с любым из компетентных физиков устранил последние сомнения в реальности наших возможностей соорудить эти взрывные механизмы. Смею вас заверить, что их мощность достаточна, чтобы смести с лица земли центр каждого из этих городов.

Итак, господа, в данный момент судьба двух крупнейших городов двух самых мощных стран мира находится не в руках амбициозных, непоследовательных и безответственных политиканов, но в руках двух деятелей науки. Вы, возможно, усомнитесь, даст ли это выход из тупика. Мы считаем, что даст.

Мы ощущаем ситуацию, предшествующую нашему вмешательству, как нетерпимую и в конечном счете опасную для жизни на Земле вообще. Мы также полагаем, что поскольку мы хотя бы частично несем ответственность за возникновение подобной ситуации, мы обязаны способствовать ее разрешению. Мы не видим разницы между двумя группами несгибаемых правителей. Мы не прибегли к средствам этического воздействия, поскольку единственная результативная этика на сегодня — это этика силы. Поэтому мы прибегли к силе для достижения своих целей.

Сила, находящаяся в нашем распоряжении, достаточна для разрушения Нью-Йорка и Москвы. Через сорок дней с момента отправления настоящего письма мы употребим эту силу и разрушим оба города, если, конечно, до истечения этого сорокадневного срока Соединенные Штаты и Советский Союз не придут к той или иной форме договоренности о запрещении всех видов атомного оружия.

Вы, безусловно, поставите под сомнение нашу решимость и наши возможности. Но мы полагаем, что поскольку сомнение в нашей искренности может обойтись слишком дорого, вам ничего не остается, кроме как принять нашу декларацию. Мы искренне надеемся, что вы это сделаете.

Идентичное письмо в настоящее время читается в Москве".

Начальник полиции замолчал и отложил письмо в сторону.

— Подпись: Александр Хортон. Вот так обстоят дела, Клэнси. В день отправления Хортон исчез. Исчез и Симоновский.

Вот как это началось, и с этого момента до того, как я принес в кабинет начальника сто пятьдесят тысяч долларов, прошло пятнадцать дней. А с момента, как было получено письмо от Хортон, до того, как меня вызвали в кабинет начальника, чтобы убедить, что я должен приложить все силы и старание, чтобы спасти человечество, — по крайней мере, два города, имеющие какое-то отношение к человечеству, — прошло семь дней. Пятнадцать плюс семь равняется двадцати двум. Оставалось восемнадцать дней.

Я рассказываю эту историю как могу. Если рассказ скачет то вперед, то назад, то именно так действовал Клэнси. Для меня имеет смысл вернуться к началу событий именно тогда, когда я вернулся к себе в квартиру на сто пятьдесят тысяч долларов беднее, чем вышел из нее. Я сварил свежий кофе, закурил и задумался над обстоятельствами дела. Именно поэтому я мысленно вернулся к началу. Правда, действует еще один фактор: мы как-то уживаемся с крупным и мелким человеческим безумием. Мы исходим из того, что сами-то в здравом уме и большинство наших действий исходит именно из требований здравого смысла. Именно поэтому мы полагаем, что объективно оцениваем самих себя и мир. Этого объективного взгляда я придерживался до тех пор, пока мне не предложили взятку. В тот же вечер меня заставили принять ее, а теперь я сидел в пустой комнате и смеялся.

Почему я поступил так, а не иначе? Да потому что я, Том Клэнси, таков по натуре. Мудрый Джон Камедей не бросился обниматься со мной в знак одобрения моего честного поведения. Честность — это нечто не слишком определенное. Так же как и совесть — термин, использованный Камедеем для характеристики Александра Хортон. А фундаментом моего поступка было то, что деньги эти мне не нужны. Они как-то мне не шли. Они существовали независимо от меня, как вне моих устремлений оставалось множество вещей с момента смерти Хелен. Мне не хотелось ночевать под одной крышей с этими деньгами, и потому я отвез их в центр.

Теперь я подозреваю, что хотя до совещания в кабинете начальника нью-йоркской полиции Камедея я ничего о нем не знал, Камедей обо мне, видимо, кое-что знал. Человек его положения может задавать вопросы, зная, что получит ответ, и не так уж трудно было найти людей, работавших со мной и знавших меня, пусть даже не слишком хорошо. Камедею, видимо, сказали, что Клэнси не столько храбр, сколько осторожен; именно это ему, очевидно, и было нужно. Ему, наверное, также сказали, что я никогда не занимался словесной демагогией и не высказывал лозунговых банальностей, если обстоятельства не заставляли меня делать это, что также, видимо, было ему нужно. Так или иначе, он доверял мне в той степени, в какой это было необходимо, чтобы снабдить меня соответствующей информацией; а затем он откинулся в кресле, некоторое время пристально смотрел на меня, а потом сказал:

— Вопросы есть, Клэнси?

— Да, вопросы. Не знаю даже, с чего начать, сэр.

— Вы все слышали. Вы абсолютно уверены, что смогли бы сделать бомбу, если мы предоставили в ваше распоряжение все необходимое. Вы верите Хортону?

— Видите ли, сэр, — сказал я, — для меня вопрос, верить или не верить Хортону, лишен всякого смысла. Для того, чтобы на него ответить, надо хорошо знать Хортон и ход его мыслей. Надо также провести инвентаризацию в Окридже или в другом месте, где хранятся эти чертовы материалы, и проверить, чего не хватает.

— Не хватает?

— Чего?
— Материалов на одну крупную атомную бомбу — в смысле урана.
— Каким образом... — начал я, но он меня тут же перебил.
— Не спрашивайте, каким образом это произошло, Клэнси! Вы же были в армии и знаете, какой там порядок... Они не уверены, есть ли недостача! Они также не уверены, что все на месте! Им просто кажется, что недостает материалов на одну бомбу!

— Я не совсем уверен, что это само собой разумеется, — тихо произнес сенатор.

— Не совсем уверены? А я уверен и готов подтвердить это под присягой!

— А как обстоят дела в России? Вы с ними говорили?

— Говорил ли я с ними? Ну и ну, Клэнси! И у нас, и у них одинаковы и степень идиотизма, и чувство неуверенности. Конечно, приятно знать, что они так же безответственны, как и мы. Они не признаются, что у них пропал уран или плутоний, но они отказываются четко заявить, что все на месте. Они обожают секреты, так что ни за что их не выдадут, но скажут, до какой степени они опасаются самого худшего.

— Они не нашли Симоновского?

— Да нет. Не нашли они Симоновского. Как и мы не нашли Хортон. В течение семи дней мы пытались воспользоваться всем нашим опытом розыска пропавших людей с помощью малейших зацепок. Мы его не нашли. Понять ситуацию не так трудно. Если бы мы предали всю эту историю гласности, на нас навалилась бы гигантская паника. Гигантская — не то слово. Мы бы имели дело с катастрофой высшей марки. Только представьте себе последствия полного выселения всех жителей города — при условии, что это вообще осуществимо. Где разместить десять миллионов человек? Как их кормить? Дело даже не в этом: дело в колоссальной сопутствующей ломке. Вот почему мы предпочли продолжать поиск Хортон. Искать надо тихо, молча — по секрету.

— И все-таки не исключено, что это блеф, — заметил я.

— В ваших словах, Клэнси, уже заключен ответ. Когда мы обнаружим Хортон, мы узнаем, блеф это или нет. А обнаружить его надо, и быстро. Это больной человек, может быть, даже умирающий. У него наступила ремиссия, но он неизлечим.

— Что, по вашему мнению, я должен делать? — спросил я.

— Не спешите. Сначала уясните себе, с чем нам придется столкнуться, ибо мы уже с этим столкнулись. Когда мы задаем людям вопросы, мы скованы пределами разглашения сути дела. Кот так и сидит в мешке.

— Ясно, сэр. Полагаю, что я вас понял.

— Мы возлагаем огромные надежды на вас. На вас, Клэнси. Вы поступите на работу в Никербокерский университет, где будете замещать профессора Хортон. Преподавать физику.

— Как, я же пятнадцать лет назад порвал с нею...

— Порвать невозможно. Она сидит у вас где-то в глубине. Соберитесь с силами.

— За сорок дней?

— За неделю, Клэнси. Одну неделю. В течение этой недели вы будете заниматься физикой за едой и во сне. И сны вам будут сниться физические. Затем вы явитесь к декану Эдварду Горленду. Он не посвящен в детали, но знает, что речь идет о сугубо секретном мероприятии. Сверх этого он не знает ничего, но этого достаточно. Мы подготовили для вас соответствующий послужной список, охватывающий послевоенный период.

— Как я смогу работать на университетской кафедре физики при наличии всего лишь пятидневной подготовки?

— Сможете и будете. С вами вместе будет работать Горленд. Вам предстоят семь бессонных ночей. Люди и не такое выдерживали. Но вы туда придете, и вас должны принять за настоящего преподавателя! А если у вас ничего не получится, то, помогай мне Бог, Клэнси, я сделаю все, чтобы вы пожалели, что вообще родились на свет!

— А я уже жалею...

— Итак, вы пойдете туда, Клэнси, и вы должны будете найти хоть какой-то выход на Хортона. Мы обучили вас ремеслу полицейского, и вы считаетесь сообразительным полицейским.

— Спасибо, сэр!

— Не ваяйте дурака и не умничайте! Вы будете делать то, что вам положено делать, Клэнси! На этой кафедре работает одна женщина. Ее зовут Филлис Гольдмарк, и в течение двух лет она время от времени встречалась с Хортоном. Как я понимаю, особой любви там нет, но для него она — единственный друг. Вы получите все возможные сведения о Филлис Гольдмарк, и вы обязаны познакомиться с ней, обязаны завоевать хорошее к себе отношение, уважение и доверие с ее стороны...

— Нет, — сказал я. — Нет, сэр. Я не могу.

И тут наступила тишина, долгая, тяжкая тишина; все присутствующие внимательно глядели на меня. Сотрудник разведки Джексон попытался что-то сказать, но Камедей велел ему заткнуться. Вновь наступило молчание. И тут удивительно нежным голосом заговорил, обращаясь ко мне, мэр Джером Грин:

— Я больше не сплю, Клэнси. Я страшно устал. Я так же боюсь умереть, как и любой другой, но мне кажется, что я умру безропотно, если сумею найти ответ на эту загадку. А найти его я не могу. Помогите мне, Господь, не могу.

— Не думайте, что мы сидели сложа руки, — заметил Фредерикс. — Мы допросили эту женщину. Мы знаем, что именно ей известно. И поняли, что она ничего не стремится от нас скрыть. Сознательно. Но мне надо знать, что она знает, сама того не осознавая.

— Мы обязаны знать, — прошептал Грин.

— Я человек маленький, — прошептал я в ответ. — Я никто по сравнению с вами. Вы все — большое начальство, а я рядовой полицейский из отдела по расследованию убийств, который не боится говорить, что думает, в вашем присутствии, поскольку мне от вас ни сейчас, ни потом ничего не надо. А вам от меня — надо. Поэтому я смею разговаривать с начальником полиции, мэром, сенатором, человеком

из ФБР и рыцарем плаща и кинжала, и мне плевать, если меня после этого поставят дежурить в форме на иммиграционный причал Стэйтен-Айленда. Но почему вам наплевать на мои чувства? Мне повезло: я любил одну-единственную женщину, как только способен любить мужчина, и она умирает от лейкемии! От лейкемии! Я собственными глазами видел Хиросиму и женился на женщине, которая умирает от лейкемии! Вот почему я стал полицейским! Я ненавижу физику! Ненавижу вашу грязную, вонючую бомбу! Ненавижу ее так же, как Хортон!

Фредерикс ждал чего-то. Все молчали. Тогда Фредерикс произнес с видимой небрежностью:

— Не думаю, чтобы Хортон ненавидел бомбу как таковую. Начальник полиции охарактеризовал его как человека совестливого. Пусть так. Не собираюсь спорить по этому поводу, тем более это определение носит скорее описательный характер и тем полезно. Но у меня собственное мнение. Хотите выслушать его, Клэнси? Ну так получайте! Какой он, к черту, совестливый? Вы ненавидите бомбу, Клэнси? А вы уверены, что ненавидите ее так же яростно, как мэр Грин, как ваш начальник Камедей? Я не представляю себе, чтобы вы в тишине спальни мастерили игрушечную бомбочку. Но где-то в Нью-Йорке Хортон пестует и лепеет большую, жирную бомбу. Да, конечно, он собирается спасти человечество! Он собирается отправить десять миллионов в царство Божие, лишь бы спасти человечество! К черту таких спасителей, Клэнси!

— Вы позабыли об одной вещи, — напомнил я.

— А именно? — прищурился Камедей.

— Мы могли бы заключить пакт и запретить бомбу.

— Я обыкновенный полицейский, — замотал головой Камедей. — Обыкновенный полицейский. Выше вас по званию, Клэнси, но все равно всего лишь полицейский. Я не заключаю договоров. Пусть о договорах заботятся Вашингтон и Москва. Я целиком и полностью "за". Но я знаю: независимо от того, заключат или не заключат договор, ситуация останется прежней. Хортон сидит где-то с бомбой, а моя задача — найти его во что бы то ни стало. Может быть, он человек совестливый, а может быть, и нет, но каким бы он ни был, он физически и душевно болен. И даже если он умрет — неважно где, — город останется в опасности до тех пор, пока мы не найдем эту проклятую бомбу.

Мои аргументы оказались исчерпанными. Я сказал, что сделаю.

И теперь, по прошествии пятнадцати дней, сидя в одиночестве в своей квартире, куря за чашкой черного кофе, я осознал, что секреты существуют только в женских школах и в среде рыцарей плаща и кинжала. Наш секрет уже не является секретом, по крайней мере, для двоих: для стопроцентного американца Джеки и носителя англосаксонской фамилии мистера Брауна, говорящего с испанским или латиноамериканским акцентом. Им все известно, и они готовы заплатить авансом сто пятьдесят тысяч долларов — точнее, те, кто за ними стоит, — не спросив расписки. Им нужно одно: бомба, удобно спрятанная в

Нью-Йорке, — когда я узнаю ее адрес. Они даже готовы ждать. Но не вечно; и я сомневаюсь, что они готовы ждать все оставшиеся восемьнадцать дней.

Выпив кофе дома, я отправился в университет и, когда туда приехал, почувствовал зверский голод, после чего рванул в столовую поесть яичницу с беконом и выпить еще кофе. За одним из столиков в одиночестве сидела Филлис, и мой поднос, полный еды, встал рядом с ее апельсиновым соком и тостом.

— Доброе утро, — улыбнулась она мне. — Вы всегда так обильно завтракаете?

— Честно говоря, нет. Боюсь, что встал слишком рано, и от этого у меня разыгрался аппетит.

— А я вспоминаю вчерашний день, — сказала она. — Это был один из лучших дней моей жизни.

— Рад слышать это.

— Знаю, что вы рады. Вы ведь любите делать людям приятное, правда, мистер Клэнси?

— Не знаю. Никогда об этом не думал.

— Ваша яичница остынет, мистер... — Она вздохнула, допила апельсиновый сок и положила в кофе сахар. — Почему мне так трудно называть вас Томом? Вы же просили меня, правда?

— Просил.

— Мне вчера было так хорошо, а потом я спорила сама с собой, доказывая себе, что вы бы не вели себя так со мной, если бы вам мое общество не было приятно.

— Доказательство неопровержимо!

— Вам просто смешно. А насчет яичницы — моя мама мне покоя не дает, когда у меня еда стынет на тарелке. И я усвоила эту ее привычку. Да ешьте же! Вы ведь сказали, что проголодались.

— Буду есть, — улыбнулся я, — раз это доставляет вам удовольствие.

— Том, вы очень милый.

— Да? Ну, может быть. Не знаю. Стараюсь. Мы ведь оба одиноки. Не хотите сегодня опять со мной поужинать?

— Ой...

— Понимаю, что приглашаю вас два вечера подряд...

— А почему вы меня приглашаете?

— Потому что мне будет приятно еще раз с вами поужинать. Вот и все. У вас свидание?

Она кивнула.

— Тогда...

— Не настоящее свидание, — объяснила она. — Меня пригласила двоюродная сестра. На обед. Они живут в Грейт-Нек.

— У вас есть машина?

— Нет. Нет. Она мне не по карману, Том. И у меня нет прав.

— Машина есть у меня. Я отвезу вас туда и обратно при условии, что вы возьмете меня с собой.

— Это было бы прекрасно, — вздохнула она. — Терпеть не могу

электричку. Было бы так прекрасно... Но не смею... не смею навязываться вам таким образом. Это было бы неправильно.

— Что было бы неправильно? То, что я вас отвезу, или то, что вы меня туда пригласите?

— Да нет, не это. Боюсь, что вам просто не понравятся эти люди.

— Если они нравятся вам, то почему не мне?

— Я не уверена, что они мне нравятся, Том, — сказала она. — Просто туда можно пойти. Куда-то пойти, чтобы не сидеть дома. Я преподаватель, мне двадцать девять лет, незамужняя и не слишком привлекательная. Это не секрет. Вам-то ясно...

— Неужели меня можно понять так, что мне себя жалко? — тихо спросил я.

Она дернулась, как от удара. Лицо ее побелело, она опустила глаза. Так она сидела минуты две, а потом прошептала, не поднимая глаз:

— Нет, вам себя не жалко.

— Тогда и вам нечего себя жалеть.

— Вы правда хотите побыть со мной сегодня вечером?

— Да.

— Прекрасно. Но мне придется предупредить сестру по телефону. Она не откажет, поскольку я приду с мужчиной. Они иногда доводят меня до слез, потому что у меня нет знакомых мужчин. Позвоню, а в пять зайду за вами.

— Спасибо, Филлис.

— Пожалуйста, — сказала она и стала помешивать сахар, все еще не поднимая на меня глаз.

Часть третья

ДМИТРИЙ ГРИШЕВ

"Хвост" я заметил только тогда, когда подошел к дверям особняка на Парк-авеню, но было уже поздно. Я заметил его краешком глаза: он стоял на углу боковой улицы со стороны центра, в том же самом сером шерстяном пальто, в черных туфлях и черных перчатках. Следовательно, я никудашный полицейский и круглый дурак; уж слишком часто я оказываюсь в дураках, так что это чувство для меня не открытие, лишь равновесие, и вдобавок мне никогда не приходило в голову считать себя образцовым полицейским в каком бы то ни было смысле. И я совершил единственно возможный поступок: вошел в дом.

Не исключено, что вы видели дом на Парк-авеню, являющийся дипломатической крепостью Советского Союза в Нью-Йорке. Изящный и элегантный угловой дом, построенный из красного кирпича в георгианском стиле, а точнее, в характерном для конца прошлого века стиле, имитирующем георгианский. До меня доходили слухи, будто бывший хозяин этого дома здорово нажился на желании русских приобрести один из лучших домов Нью-Йорка в одном из лучших районов города. Даже если это правда, то далеко не вся правда. Ибо, если на

сцену выходит страна — неважно, какая страна, — то она либо покупает за любые деньги самую лучшую вывеску, либо арендует ее.

Хмурый квадратный джентльмен в темном костюме отворил мне дверь, и я вошел. Квадратным было лицо, квадратным был он весь. Не говоря ни слова, он вздернул брови, а я сказал ему, что приехал к Дмитрию Гришеву.

— А кто такой Дмитрий Гришев? — спросил он.

Акцент его был трудновоспроизводим. Это был мой первый русский — советский русский, и мраморный пол вестибюля стал первым участком русской почвы, на которую ступила моя нога. Реакция была холодной, настороженной и необнадеживающей; и когда я сообщил, что ему должно быть известно лучше, чем мне, кто такой Дмитрий Гришев, лицо его опять стало квадратным и непроницаемым. Мы стояли друг против друга, время шло, пока молодая дама в дальнем конце вестибюля, сидевшая за столом и занятая своими делами, не поняла, что произошло недоразумение, и подошла к нам, чтобы помочь. Это была весьма презентабельная молодая дама, вовсе не толстая и со вкусом одетая. Внимательно поглядев на меня, она выдавила из себя даже подобие улыбки.

До меня уже дошло, что даже в этом заведении иногда царит веселье, по случаю моего прихода все проявления чувств были подавлены и загнаны вглубь. Молодая дама осведомилась, чем могла бы быть полезна, и я повторил, что хотел бы увидеться с Дмитрием Гришевым. Услышав мою просьбу, она задумалась, а потом что-то сказала по-русски крупному квадратному мужчине, пропустившему меня в здание. Он тоже ответил по-русски, но, как говорится, ни единый мускул лица не дрогнул. Затем дама повернулась ко мне и с полуулыбкой известила, что здесь Дмитрия Гришева нет.

Широкая мраморная лестница вела на второй этаж здания. По ней теперь спускалось к нам еще одно лицо: изящный молодой человек с серьезным лицом в темном костюме. Как и те двое, он укрылся за маской ничего не выражающей озабоченности, которая, похоже, была визитной карточкой советского дипломатического представительства. С едва заметным акцентом он осведомился, чем может быть полезен.

— У меня назначена встреча с мистером Гришевым, — ответил я. — Час назад я набрал номер телефона этого здания, созвонился с мистером Гришевым и договорился о встрече. После этого я занялся текущими делами, потом надел шляпу и пальто, взял такси и приехал сюда. Но этот джентльмен справа от меня и эта дама слева стали уверять, что здесь нет никакого Дмитрия Гришева.

Тут худощавый молодой человек улыбнулся, улыбнулся искренне и открыто.

— Дмитрий Гришев, — сказал он, исчерпав свои способности улыбаться.

— Дмитрий Гришев, — повторил я.

Он сказал что-то по-русски молодой даме, а та сказала что-то по-русски квадратному джентльмену. Тот ответил по-русски сразу обоим. Худощавый молодой человек сказал что-то опять-таки по-русс

ски, и на этот раз ответила молодая дама. Затем русский язык был на время оставлен в сторону, худощавый молодой человек спросил меня, кто я такой.

— Меня зовут Томас Клэнси, — сказал я ему. — Я профессор физики Никербокерского университета. Мне тридцать семь лет, и я живу в Нью-Йорке.

Худощавый человек кивнул и внимательно поглядел на меня. Затем произнес вдумчиво и сдержанно, как бы тщательно подбирая каждое слово:

— Не исключено, что вы именно тот человек, кем назвались, мистер Клэнси. Но вы забыли упомянуть один важный факт. У вас при себе оружие.

Его замечание прозвучало утвердительно. Я спросил, откуда он узнал.

— Мой друг, — он кивнул на квадратного джентльмена, — специально обучен замечать подобные вещи.

— Не думал, что оружие столь заметно.

— Для тех, кто не прошел специальной подготовки, — конечно. Поверьте, я тоже не принадлежу к числу тех людей, кто занимается этим профессионально. Может быть, вас выдает ваша поза. Может быть, положение руки. Не знаю. Но если мой друг говорит, что у вас с собой оружие, значит, у вас действительно есть с собой оружие. Поймите, мистер Клэнси, это не просто здание, это помещение особого типа. Официальное представительство СССР в Организации Объединенных Наций. По понятной причине мы с осторожностью и даже с некоторым подозрением относимся к тем, кто приходит сюда с оружием и представляется университетским профессором. С учетом данных обстоятельств, как мне кажется, было бы лучше, если бы вы покинули здание.

Я отрицательно покачал головой.

— Не раньше, чем увижусь с мистером Гришевым.

— Но ведь вам уже сказали, что здесь нет мистера Гришева.

— У меня назначена встреча с мистером Гришевым. И я намерен с ним увидеться.

Худощавый молодой человек задумался. Потом расплылся в улыбке и спросил, не буду ли я возражать, если они на время позаботятся о моем оружии.

— Не буду, — сказал я.

— Тогда просьба не двигаться, мистер Клэнси. Побудьте на месте, опустив руки. Мой друг сам заберет оружие.

Я замер, и крупный квадратный мужчина сунул руки под пиджак, вынул оружие, бросил на него беглый взгляд и сунул себе в карман. Затем состоялся быстрый обмен репликами на русском языке, после чего худощавый попросил меня присесть и подождать несколько минут. После этого он ушел вместе с молодой дамой. Я сидел на стуле с высокой спинкой, а человек, в чьи профессиональные обязанности входило определять на глаз, у кого есть оружие, а у кого оружия нет, стоял рядом и глядел с нескрываемым профессиональным любо-



пытством. Прошло несколько минут, вернулась молодая дама и, улыбаясь во весь рот, сказала, что проводит меня к мистеру Гришеву. Я поднялся вместе с ней по лестнице, вошел в большую квадратную комнату для приемов с мраморным полом и тяжелыми красными плюшевыми занавесками и прошел в гостиную — большую красивую комнату с библиотечными шкафами, дубовыми настенными панелями, дубовыми полами, массивной псевдоренессанской мебелью, очевидно, попавшей в дом еще в прошлом веке.

Молодая дама довела меня до дверей комнаты, откуда вышел Гришев и протянул мне руку. Пожатие его было сильным и резким, он сказал, что рад видеть меня — с легчайшим намеком на русский акцент, — и спросил, что я буду пить.

— Ничего, — поблагодарил я.

— Ну хотя бы что-нибудь: бренди, аперитив, стакан фруктового сока?

— Нет, спасибо.

Передо мной стоял плотно сбитый, хорошо одетый мужчина сорока двух лет. Серый фланелевый костюм мог быть из магазина "Братья Брукс". Белая рубашка, черный вязаный галстук. В манжетах — прекрасные золотые запонки. Голубоглазый блондин, настороженный, быстрый, решительный. Предложил мне кресло и сел сам напротив, положив руки на колени с выражением радостного удивления, как будто бы он меня измерил и взвесил — и решил, что я тот самый человек, который наилучшим образом выполнит порученную работу.

Я обратил его внимание на затруднения, испытанные мною этажом ниже. Он пожал плечами, улыбнулся и объяснил, что у них, как и у нас, есть свои ведомственные неурядицы.

— Как и вы, — сказал Гришев, — я, если можно так выразиться, тут только гость. И представляю я службу, которую тут, мягко говоря, не слишком жалуют. Мало кому нравится спать под одной крышей с профессиональным следователем и есть с ним за одним столом. Такова человеческая природа, а человеческую природу в Советском Союзе никто не отменял. Хотя, мистер Клэнси, в вашей стране кое-кто утверждает обратное.

— У меня нет мнения относительно Советского Союза, — сказал я.

— Это удобно, мистер Клэнси, но вряд ли правда. Неважно, о чем американец имеет мнение и о чем он его не имеет, но уж о Советском Союзе у него обязательно мнение есть. Могу даже поставить вопрос шире: у каждого русского обязательно есть мнение о Соединенных Штатах. Но все это к делу не относится. Мы разговариваем как профессионалы и языком профессионалов. Оба мы глубоко встревожены действиями двух безответственных лиц. Я знаю, кто вы. Но понятия не имею, что вы знаете обо мне.

Гришев начинал мне нравиться. Сознательно или бессознательно, он не укладывался в стереотипы. Этажом ниже мне показалось, что я поднимаюсь на сцену, где разыгрывается ревю по дурно написанной пьесе о Советском Союзе. А Гришев оказался человеком прямым, деловым и практичным.

— Мне известна лишь ваша фамилия, — сказал я, — а также ваша причастность к делу. Боюсь, что больше мне ничего о вас не известно.

— Между нами есть еще кое-что общее, — сообщил Гришев с улыбкой. — В частности, как и вы, я когда-то занимался физикой. Перед войной я преподавал физику в небольшом украинском институте. После войны меня взяли на работу в МИД. Два года я был в Англии, где и научился сносно говорить по-английски. А это очень трудный язык, наверное, второй по трудности после русского. Но я слушал, как говорят другие, и учился сам. Затем меня перевели из МИД в другое ведомство, примерно эквивалентное по функциям вашему министерству юстиции. Это имеет и положительные, и отрицательные стороны. Как специалист я не принимаю решений. Мое дело — заниматься своей работой. Меня послали сюда потому, что я говорю по-английски и имею понятие о физике. Мне бы хотелось работать с вами, если я смогу быть вам полезен. Однако мне не хотелось бы путаться под ногами, насильно навязывать свое участие. Понимаю, что у вас трудная и деликатная задача. С одной стороны, мне не хотелось бы очутиться на вашем месте. С другой стороны, если можно так выразиться, я уже на вашем месте.

— Как так? Неужели, мистер Гришев?

— Хотя бы в таком смысле: я в вашем городе, и я единственный из наших, кому известно, зачем я здесь. Говорю честно: я здесь как на иголках. При всем том, что я знаю, я хотел бы сейчас быть в Москве.

— Правда? — спросил я.

— Это вовсе не героизм, мистер Клэнси, это правда. У меня не было времени проанализировать, почему это так. Слишком многое надо анализировать, а времени нет. Однако я здесь. Хочу быть вам хоть чем-то полезен. Не хотелось бы говорить, что все, чем располагает наша страна в вашей стране, находится в вашем распоряжении. Это было бы лишено смысла. Я ведь понимаю, что пользу вам сможет принести одно-единственное: ваша голова. Я прав?

— Более или менее.

— И все-таки я мог бы оказаться вам полезен — в той или иной степени.

— Да, в той или иной степени.

— Тогда в сторону энтузиазм и всяческие формальности. Чем конкретно я могу помочь?

Я долго и пристально смотрел на Гришева, прежде чем дать ответ. Мне пришло в голову, что в каком-то смысле, невзирая на унижительное давление со стороны, между нами возникла какая-то уникальная общность, отделявшая нас от всех. Мы занимались выполнением ни на что не похожего задания, быть может, самого необычного задания, совместно выполняемого советским и американским гражданином, за все время с момента окончания второй мировой войны. У нас могли бы найтись тысячи общих тем для разговора, тысячи предметов дискуссий, по которым ни один из нас не убедил бы другого, но такой беседы между нами наверняка не возникнет. У нас устанавливались профессиональные отношения в рамках довольно сомнительной профессии, но тут же мне пришло в голову, что, может быть, одновременно мы торим единственную в своем роде дорожку простого, а может быть,

сложного взаимодействия людей в масштабе цивилизации.

— Можно было бы начать с того, что вы знаете о Симоновском.

— Прекрасно. Академику Петру Симоновскому пятьдесят три года.

До сих пор он жил в Киеве. Родился в маленькой украинской деревушке, где постоянно жили его родители. Когда пришли нацисты, родители были еще живы. Они погибли в лагере. Симоновский был женат на красивой, талантливой женщине Александровой-Черновой. Если бы вы были русским моего возраста, вы бы знали это имя. Мисс Чернова была балериной, быть может, такой же талантливой, как Уланова. Я как-то видел ее перед войной. И ее исполнение, и ее облик производили необычайное впечатление. Она двигалась не как тело из плоти и крови, а как сама музыка. И была столь же красива, как и грациозна. Почему она вышла замуж за Симоновского, пусть решают писатели. Я не берусь судить, отчего конкретный мужчина выбирает конкретную женщину, а женщина именно этого мужчину. Тем не менее они поженились, и, насколько мне известно, брак их был удачным. Конечно, не без трудностей. Честно говоря, я не верю в существование безоблачных браков, тем более когда в брак вступают физик и балерина, это само по себе необычно. Но брак оказался прочным. В 1942 году, когда Симоновский был в армии в звании майора, жена и дети погибли в Киеве во время воздушного налета. От этого удара Симоновский уже не оправился. Его охватила глубочайшая депрессия. Жизнью он больше не дорожил и бросался в самое пекло. Дважды его ранило, но каждый раз он поправлялся и возвращался в строй. Его наградили орденом Сталина¹, но, как сообщают агентурные источники, эта награда была лишена для него всякого смысла и воспринималась с презрением. В его обстоятельствах это понятно. В 1946 году он прошел курс антидепрессивного медикаментозного лечения. Внешне это принесло пользу, и он смог погрузиться в полезную и результативную работу в области атомной энергии. Насколько известно, он не имел ни письменной, ни какой-либо иной связи с Алексом Хортоном до состоявшейся прошлым летом встречи в Лондоне. Войну он ненавидел. Ненавидел он и бомбу, но согласитесь, мистер Клэнси, для нашей страны такое отношение ко всему, что связано с войной, не является чем-то необычным.

— Странно, но у нас тоже, — заметил я.

— Итак, он у вас на ладони, — кивнул Гришев. — Однако, исходя из всего сказанного, я все же считаю, что он человек совершенно иного склада, чем ваш Хортон. Их свели воедино, так сказать, обстоятельства места, времени и исторического момента, обусловившие возникновение у них чувства безумия и отчаяния.

— Из этого я заключаю, что найти его вам пока не удалось.

Гришев уважительно посмотрел на меня и кивнул.

— А почему?

— Да потому же, почему вы до сих пор не нашли Хортона. Из того, что я о вас знаю, мистер Клэнси, я могу сделать вывод, что до сих пор

¹ Такого ордена нет, но, с точки зрения автора, для характеристики героя важна "реакция на имя".

вы занимались только преступниками. В какой-то мере это относится и ко мне, хотя мои подопечные несколько иного характера и склада. Преступник по натуре психопат. И чаще всего невежда. Легенда о преступнике — мастере своего ремесла — чистая романтика. И причиной того, почему преступления совершаются столь неразумно, является простой факт: разумные люди преступлений не совершают.

— Точнее сказать, обычных преступлений.

— Совершенно верно, и в мире, где мы живем, мистер Клэнси, караются именно обычные преступления. Когда преступник спускается на землю, его можно найти. У него есть сообщники, привычки, окружение. За ним тяжкий груз обыденнейшей истории ранее совершенных преступлений. Но человек разумный — это нечто иное. Уж если он спускается на землю в большом городе, его уже не найдешь.

— Вы действительно так считаете?

— К сожалению, да, — подтвердил Гришев. — А вы?

— Для меня такая постановка вопроса бессмысленна, — пояснил я. — Мне необходимо разыскать Хортон; даже зная заранее, что найти его нельзя, я все равно обязан был бы его разыскать. Просто я подумал, что если бы у вас нашелся Симоновский, это бы помогло в наших розысках.

— Может быть, и помогло бы, — сказал Гришев с горькой улыбкой.

— Но Симоновский в Москве, а мы здесь.

— Да, мы здесь, — признал я. — И будем еще две недели.

— А где мы окажемся через две недели, проблема чисто теологическая, спорить же с американцем на теологические темы — дело заведомо гиблое. Вопрос стоит так: чем я могу быть вам полезен? Вам понятно, что мои возможности ограничены. Я в чужой стране. Я в чужом городе. У меня есть определенные возможности, но я не могу ими воспользоваться. Я могу быть не согласен с некоторыми из ваших методов, но мне от этого не легче. Я могу лишь оказать вам помощь, если это в пределах моих сил.

Я достал переснятую фотографию Ванпелта и передал ее Гришеву. Тот повертел ее минуты две и вопросительно взглянул на меня.

— Вы знаете этого человека? Вам он когда-нибудь встречался?

Гришев покачал головой.

— Его зовут Джон Ванпелт, — сказал я Гришеву. — Ему пятьдесят лет, он профессор Никербокерского университета. Снимок неважный, но другого у нас сейчас нет. Нельзя ли проверить по вашим каналам, что о нем известно? Причем не только здесь, но, если можно, через Москву. Проверить досконально. Поискать зацепки, следы того, что представляет этот человек на самом деле.

— Попробую. А чего вы ожидаете от результатов проверки?

— Сам не знаю.

Гришев кивнул в знак согласия и сунул снимок в карман. Мы поболтали о том, о сем, и я встал, чтобы откланяться. Пожимая мне руку, Гришев сказал:

— Послушайте, Клэнси, пока вы не ушли... как вы считаете, у них действительно есть бомбы?

— Что я считаю, неважно. Мы имеем дело с предположениями, а не мнениями.

— И все-таки, если вы не возражаете, мне бы хотелось это знать.

— А почему?

— Потому, — медленно произнес Гришев, — что у вас, уж простите, что я говорю об этом вслух, вид человека, потерявшего что-то такое, чего никогда не вернуть.

— И это делает из меня личность, подобную Симоновскому или Хортому? — спросил я с некоторой долей раздражения.

— До некоторой степени.

— Когда я отыщу Хортона, я сумею ответить на ваш вопрос.

— Если я вас обидел... — начал Гришев.

— Меня нельзя обидеть, — отрезал я. — Если меня не обидел оказанный мне прием у вас внизу, то меня не может обидеть ни единое сказанное здесь слово.

— Надеюсь вновь увидеться с вами, — грустно произнес Гришев.

— Боюсь, что это неизбежно, — ответил я.

Он спустился со мною вниз и подождал, пока огромный квадратный мужчина вернет мне револьвер и подаст плащ. Только тогда он удалился.

Часть четвертая

ГАНС КЕМПТЕР

Из здания советского представительства на Парк-авеню я вышел в двенадцать. Сияло солнце, и с запада дул приятно пахнувший ветерок, который так редко освежает Нью-Йорк, неся с собой здоровый запах континента. Это ветер, делающий город чистым, заставляющий солнце светить еще ярче, рельефнее очерчивая тени; город сверкает, он отполирован и излучает свет, и отдельные его районы как бы становятся овеществленной мечтой, воплощением человеческих мечтаний, надежд и конкретных представлений о том, каким город должен быть. И в такие минуты, если вы знаете и любите город, он представляется вашей личной собственностью; вас наполняет странная, особенная гордость — щит нью-йоркцев, почти не понятная для всех, кто не живет в Нью-Йорке.

Это чувство заставило меня задуматься: а быть может, есть на свете русские, точно так же воспринимающие Москву? Именно угроза лишнего всякого смысла уничтожения двух городов дала возможность нам с Гришевым разговаривать, не ощущая разности миров, разности культур, разности типов самоутверждения, разности, которая не превратилась в стену между нами. Если бы я в эту минуту очутился в Москве, я, наверное, понял бы, как Гришев чувствует себя в Нью-Йорке. Тем не менее мне показалось, что он воспринимает Нью-Йорк совсем не так, как большинство русских.

Что касается меня, то я был полон необычным и довольно приятным

ощущением радости жизни. Только тот, кто знает, что такое депрессия, кому знакомо чувство пустоты и одиночества, переходящее из дня в день, может оценить состояние, когда депрессия уходит сама собой. Только тот, кто тысячу лет нес на своих плечах многотонный груз томительных, душераздирающих минут, часов, дней, месяцев и лет, может оценить в полной мере, что такое жажда жизни и наслаждения жизнью. Вот так я чувствовал себя. В первый раз за много месяцев мне хотелось жить. Из телесной функции дыхание превратилось в осмысленное действие: я сознательно вкушал свежий воздух и был благодарен за это. При ходьбе я ощущал, что тело мое живет. Делая шаг, я чувствовал весну, напряжение мускулов. Я вдыхал свежий запах дувшего мне прямо в лицо ветра, и люди вокруг уже не были безликими и безымянными — они стали личностями: старые и молодые, высокие и низкорослые, счастливые и грустные. Я даже поначалу не сообразил, что со мной произошло, и лишь позднее осознал перемены как факт. Я терял незаинтересованность суждений. У меня появилось собственное мнение о Гришве. У меня появилось собственное мнение об Алексее Хортоне. У меня появилось собственное мнение о Петре Симоновском. У меня появилось собственное мнение об Артуре Джеконе и Центральном разведывательном управлении. И о Филлис Гольдмарк. И не просто мнение: ощущение, внутренняя связь, необходимость контакта, становившаяся все сильнее и сильнее, превратившаяся в составную часть бытия. Уже давным-давно у меня не было ощущения необходимости увидеться с женщиной, кроме той, которая умерла.

Захотелось есть. При переходе Парк-авеню я опять заметил "хвост". Я шел в восточном направлении и повернул на Лексингтон-авеню в сторону центра. Зашел в аптеку, взял сэндвич и выпил чашку кофе. "Хвост" подождал пять минут, после чего зашел в аптеку и сел у стойки по другую сторону.

Он демонстративно не смотрел на меня, а я его видел в большом зеркале за стойкой. Черты лица были мелкими и заостренными. Вместо бровей — светлый пушок. Глаза сидели глубоко. На лице одновременно отпечатались обида, решимость и страх.

Доев сэндвич, я вышел и из уличного автомата позвонил на Сентер-стрит. Я сказал дежурному на коммутаторе, что буду брать "хвост". Он усомнился, разумно ли это, и я ответил, что, по-моему, разумно. Он спросил, не лучше ли сначала посоветоваться с Камедеем. Я уточнил, что буду брать его на Второй авеню между Шестидесят второй и Шестидесят третьей улицами. Там должны быть две машины и двое людей наготове. Лишний шум ни к чему, но две машины, как мне показалось, не помешают.

Тут я вернулся к стойке, заказал еще чашку кофе и опять задумался. Возможно, моя идея импульсивна, не продумана; но времени на тщательное обдумывание нет: надо что-то делать. Надо заявить о себе. Так почему не здесь? Разложив все по полочкам и придя к столь бессмысленным выводам, я ушел из аптеки и пошел в южном направлении по Лексингтон-авеню. Потом перешел улицу и пошел на восток. Тут "хвост" тоже вышел из аптеки.

Медленно, погрузившись в раздумье, я шел в сторону Третьей авеню, а потом Второй. "Хвост" был от меня в сорока — пятидесяти футах. "Вел" он непрофессионально, и я понял, что уличная слежка — не его занятие. Он был неуклюж, замечен и понятия не имел о том, что является искусством наружного наблюдения: об умении сливаться с толпой, со зданием, вживаться в улицу и даже ландшафт. И тут во мне зародился страх. Говорят, будто полицейские лишены чувства страха и выполняют свой так называемый долг хладнокровно и решительно, как кондуктор автобуса собирает плату за проезд. Из собственного опыта и из опыта других я знаю, что все это чепуха. Из всех людей, знакомых с чувством страха, я бы особо выделил сегодняшних городских полицейских. Они борются с этим чувством и в процессе борьбы зарабатывают язву желудка, сердечную недостаточность и диабет.

На Второй авеню мне показалось, что я иду слишком быстро, но замедлить шаг было уже нельзя. Я пошел по Второй авеню в сторону центра и остановился на углу Шестидесят третьей улицы. Одновременно я обернулся. Когда я стал смотреть на него, ему оставалось только продолжать движение. Так я и предполагал. И поскольку я не сводил с него взгляда, он вынужден был пройти мимо. Пройти, не посмотрев в мою сторону. Пропустив его вперед, я последовал за ним, сократил дистанцию, вынул оружие из плечевой кобуры, переложил в карман пиджака и, приблизившись, заставил его ощутить прикосновение металла через плащ. Я заговорил с ним тихо и рассудительно:

— Чувствуете оружие? Так вот, не дергайтесь и не делайте глупостей. Продолжайте движение в том же направлении.

Он продолжал идти вперед. По авеню ползла патрульная машина. Высокий мужчина в коричневом пальто появился у нас за спиной и подошел к "хвосту" с другой стороны, сказав:

— Теперь порядок. Я его забираю.

Я прибавил шаг и ушел вперед. Патрульная машина поравнялась с тротуаром. Я демонстративно шел, не оглядываясь. На углу следующей улицы патрульная машина обогнала меня: "хвост" сидел между двух полицейских. Тогда я поймал такси и поехал на Сентер-стрит.

Патрульная машина доехала быстрее. Когда мое такси подъехало к зданию на Сентер-стрит, меня ждали и передали, чтобы я шел прямо в кабинет начальника. Камедей сидел вместе с Сиднеем Фредериксом из департамента юстиции. Они кивнули, когда я вошел, и Камедей жестом показал мне на стул.

— Ну и что? — спросил Камедей.

— Он ходил за мисс Гольдмарк. А вчера переключился на меня.

— Переключился на вас. Вы его знаете. Зачем было брать?

— Я на самостоятельном участке работы. Если человеку поручен самостоятельный участок работы, он самостоятельно принимает решения.

— Вы не на самостоятельном участке работы, — сказал Камедей. — Вы подключили управление. Вызвали полицейских. Какой в этом смысл? Вы уверены, что за вами следил только он? А не двое? Или трое? Или пятеро?

— Уверен, что только он один.
— А почему вы в этом так уверены?
— Уверен, и все. Может быть, это звучит глупо, но мне кажется, что я уверен. Не исключено, что я неправ. Мне приходится рисковать. У меня в запасе нет ни шести месяцев, ни года. Вы сосчитали дни. Надо начинать действовать. С какой-то точки. И если появился шанс приступить к действиям, я не имел права им пренебрегать.

Камедей поглядел на Фредерикса и вздернул бровь. Фредерикс кивнул.

— Мне кажется, Клэнси говорит дело, — произнес он. — Вокруг него стала плестись сеть. Ее надо было прорвать.

— Что теперь собираетесь делать? — поинтересовался Камедей.

— Хочу допросить его. Побеседовать с ним.

— Наедине?

— Ни в коем случае. Хочу, чтобы присутствовали вы, а также мистер Фредерикс и Гришев из советского представительства.

— Гришев? — спросил Фредерикс. — Вы с ним уже виделись?

— Сегодня утром.

— А какое отношение он имеет к "хвосту"? — настойчиво спрашивал Фредерикс.

— У Гришева широкий круг знакомств. Может быть, он его знает. Может быть, и нет.

Настала пауза. Лицо Фредерикса вновь приобрело бесстрастное выражение. Камедей внимательно наблюдал за мной. Потом кивнул.

— Ладно, Клэнси, сделаем по-вашему. Пошлю за Гришевым, а пока что вместе поговорим с вашим "хвостом".

Камедей снял трубку и дал указания. Затем мы втроем вышли из кабинета и направились в камеру особого назначения.

Там было пусто и голо. Стены покрашены в кремовый цвет. На пятнадцати квадратных футах — умывальник в углу, стол посередине, четыре простых деревянных стула, как на кухне. Над умывальником — лампочка без абажура. Над столом — лампочка под зеленым абажуром. Окон не было. Воздух поступал через вентиляционную решетку. Тепло — через батарею центрального отопления. Изоляция полная: снаружи не было слышно абсолютно ничего. Правда, специальной звукоизоляции на стенах не было: они были из толстого оштукатуренного камня, дверь же — из массивного дерева.

Когда мы туда вошли, "хвост" сидел за столом. Один полицейский в форме стоял позади, другой сидел к нему лицом. "Хвост" был без пальто, пиджака и галстука. Содержимое карманов разложено на столе. Когда мы вошли, полицейские приветствовали нас кивком. Мы подошли к столу и стали рассматривать содержимое карманов. Бумажных денег было четыреста одиннадцать долларов. Мелочь по-европейски сложена в кожаный кошелек, изящный и дорогой. В бумажнике, кроме денег, ничего: никаких документов — ни визитных карточек, ни удостоверений личности. Цепочка с двумя ключами: один — от машины. Затрепанная фотография. Водительских прав не оказа-

лось. На снимке надпись: "Томас Клэнси", а также мой адрес. Коллекцию завершал перочинный ножик с перламутровой ручкой. Мы вдвоем перебрали разложенные предметы. Камедея заинтересовали деньги. Из четырехсот одиннадцати долларов он выбрал восемь двадцатидолларовых купюр, отозвал одного из полицейских, что-то шепнул ему на ухо и вручил отобранные деньги. Я догадался, что он послал полицейского к Джекобсу, чтобы тот установил, есть ли связь между этими деньгами и теми, что принес я. Затем Камедей отослал второго полицейского. В помещении, кроме задержанного, оставались мы двое. Мы пододвинули стулья к столу, сели и стали разглядывать задержанного. Теперь он испугался. В него закрался ужас, и это было заметно: на коже появились мелкие капельки пота. Он сидел лицом к нам, вцепившись руками в край стола.

Шли минуты, но никто из нас не произнес ни слова. Фредерикс был гостем. Я ждал знака от Камедея. По крайней мере, поначалу. Пусть Камедей произнесет первое слово. Дело в том, что тишина и ожидание могут оказаться действеннее и эффективнее конкретных вопросов.

Итак, мы сидели и ждали, а минуты шли и шли, и "хвост" смотрел поочередно на каждого из нас, потом на стол, потом на собственные руки, потом опять на нас. При таких обстоятельствах три или четыре минуты превращаются в вечность. Наконец в дверь постучали. Я встал и впустил Джекобса. Тот кивнул вставшему со своего места Камедею.

— Никакой связи, — сказал Джекобс. — Обычные чистые деньги.

— Чистые, как же! — пробормотал Камедей.

Затем он отпустил Джекобса, мы вернулись к столу и снова сели. "Хвост" выдержал всего минуту и выпалил:

— Чего вам от меня надо? Зачем притащили меня сюда? Я ничего не сделал!

Голос был визгливым, напряженным, с заметным немецким акцентом. Ответа не последовало. Мы не проронили ни звука. Мне даже показалось, что Камедей переигрывает. Прием этот несколько старомоден, и настала минута, когда мне даже показалось, что он не даст никаких результатов. Но тут "хвост" опять заговорил:

— Я ничего не сделал. Зачем вы притащили меня сюда?

И снова несколько секунд молчания.

— Вы не имеете права меня задерживать. Я не преступник. Я знаю закон. Я хочу вызвать адвоката. Это мое право. Я имею право позвонить адвокату. Я имею право знать, зачем вы притащили меня сюда.

Камедей вздохнул, посмотрел на меня и кивнул, и тут я спросил задержанного, как его зовут.

— Я не обязан отвечать на ваш вопрос. Я вообще не обязан отвечать на вопросы.

— Как вас зовут? — вновь спросил я.

Он ответил кратко и по существу:

— Ганс Кемптер.

— Почему вы следили за мной? — задал я новый вопрос.

— Я не следил за вами.

— А я говорю, что вы следили за мной. Почему вы следили за мной?

Он отрицательно покачал головой.

— Почему вы вчера следили за мисс Гольдмарк?

Он опять покачал головой.

— На кого работаете?

Он плотно сжал губы. Тут в дверь опять постучали. На этот раз дверь открыл Камедей. Он переговорил с полицейским и подозвал нас с Фредериксом. Мы подошли к двери, и Камедей сказал нам, что отпечатков пальцев задержанного в местной картотеке не числится. Сведения из Вашингтона придут минут через тридцать. Затем Камедей поручил полицейскому забрать вещи со стола. Тот сгреб все в коричневый конверт и ушел. Мы опять сели за стол лицом к Кемптеру. Камедей бросил на меня взгляд и сказал:

— Действуйте, Клэнси. Даю вам полную свободу. Этот сукин сын здесь, и вы можете поступать, как считаете нужным.

Кемптер собрался с силами.

— У меня есть права! — выпалил он.

— У вас нет никаких прав, — устало произнес Камедей.

— Я хочу позвонить по телефону!

— Здесь нет телефона, — тем же усталым голосом произнес Камедей. — Здесь нет ни телефона, ни адвоката. Здесь только мы трое, Кемптер. Законы, права и привилегии, которые вы в свое время выучили наизусть, отставлены в сторону. Здесь нет закона, здесь нет права, здесь нет привилегий. И вы знаете, почему.

Кемптер переводил взгляд с одного на другого, как дикий загнанный зверь. Он отставил стул и встал.

— Садитесь на место! — произнес я. Это не мой профиль работы. Такой работы я терпеть не могу. Есть те, кто любит такую работу. Они есть и в полиции, и в других местах. У них такое призвание, а иные превращают его в искусство. У меня же к такой работе склонностей нет.

— Садитесь, Кемптер, — повторил я.

Устало, расслабленно Кемптер сел.

— Почему вы шли за мной?

— Я не шел за вами.

— На кого вы работаете, Кемптер?

Он отрицательно покачал головой.

— На кого вы работаете? — повторил я вопрос.

Он опять покачал головой.

— Кто дал вам обнаруженную у вас фотографию?

Когда ответа не последовало, Камедей встал, обошел стол и встал у Кемптера за спиной.

— Вы можете облегчить себе жизнь, Кемптер, — тихо сказал я. — Забудьте все, что знаете о законности, методах работы полиции и своих правах. У вас больше нет никаких прав. Мы все прекрасно знаем, насколько серьезно дело. Вы можете здесь умереть. Это не играет никакой роли ни для кого. Дело настолько серьезно, что тут могут умереть десять человек, и никому до этого не будет дела. Понятно?

Он уставился на меня бледно-голубыми глазами, облизнулся и напрягся, слушая за спиной присутствие Камедея. Мне никогда не при-

ходило в голову, как огромен и силен Камедей. Будучи начальником полиции, человек абстрагируется от совершаемой в тихих камерах грязной работы. Но Камедей ничего не забыл. Он ударил Кемптера раскрытой ладонью, как куском ветчины, и сила удара опрокинула Кемптера на пол. После этого Камедей вернулся на прежнее место.

Кемптер собрался и встал на локти и колени.

— Поднимайтесь и садитесь на место, — приказал я.

Интересный тип... интересный человек... интересная личность... Он вполз на стул, устроился, и я повторил:

— На кого вы работаете?

Так продолжалось пятнадцать минут. Миф стойкости так же пуст и бессодержателен и так же обожествлен, как и многие понятия нашего общества. Мне как-то пришло в голову, что когда доходит до дела, никто не является храбрецом в принятом у нас понимании этого слова. То же самое относится к проблеме страха. Есть люди: тупые, больные или бесчувственные — тела и разум которых не испытывают страха; но для основной массы людей вопрос заключается в том, какой преобладает страх, и часто страх прослыть трусом формирует героев. Кемптер — трус, поскольку жизнь его лжива, грязна и бесчестна; но боится он чего-то постороннего: места, человека или какого-то момента. И страх его достаточно силен, чтобы внушить ему стойкость.

Итак, прошло пятнадцать минут, в дверь постучали, и на этот раз пришел Гришев. Я открыл дверь и, когда увидел, кто пришел, вышел сначала в коридор и там объяснил Гришеву, в чем дело. Тот спросил:

— А по-немецки вы с ним не говорили?

Я объяснил, что мы не лингвисты и английский Кемптера вполне сносен.

— Вы не будете возражать, если попробую я? — осведомился Гришев.

— Да ради Бога, — пожал я плечами.

Он глядел на меня с полуулыбкой.

— Интересуетесь советскими методами? — спросил он.

— Читал о них кое-что, — заметил я. — Не берусь судить. У меня теперь другие взгляды. Я придерживаюсь принципа "Живи и давай жить другим".

— Думаю, дело не в том, какие у вас теперь взгляды, — с оттенком грусти заметил Гришев. — Если я вас правильно понял, дело в усталости. Ладно, пошли.

Я отошел в сторону, уступил место Гришеву, если ему захочется сесть. Но он обошел стол, не сводя глаз с Ганса Кемптера. Вдруг Гришев разразился резкой немецкой фразой. Он словно лаял. Кемптер был ошарашен. Он как будто аршин проглотил. Вытянулся, попытался встать, но обмяк и остался на месте. Гришев опять обрушил на него поток немецких слов. Кемптер покачал головой. Тогда Гришев подошел к нему, приподнял его, вытащил из-за стола и зарычал по-немецки, держа его за воротник. Камедей посмотрел на Фредерикса, а оба они поглядели на меня. Мы не проронили ни слова. Гришев запустил Кемптера в противоположный угол комнаты. Кемптер врезался в стенку и

сполз, присев. Гришев приблизился к нему, как зверь на охоте, и про-рычал по-английски:

— Встать! Встать, паршивая сволочь!

Кемптер не сдвинулся с места, только плотнее прижался к стене, вдавливаясь в пол. Гришев пнул его, и тот скрючился. Когда Кемптер попытался подняться, Гришев двинул его под ребра и проорал что-то по-немецки. Кемптер заплакал. Новый вопрос Гришева по-немецки, за которым на этот раз последовал ответ.

Я посмотрел на часы. Половина второго, а в три занятия в университете. Пора уходить. На душе муторно. Противно глядеть на Камедея с Фредериксом, которые наблюдали за Гришевым с отстраненным профессиональным любопытством. Противно глядеть на Кемптера, извивающегося на полу скорее как зверь, чем как человек. И на Гришева — продукт изошренной цивилизации двадцатого века, создавшей методику, благодаря которой один человек, не лучше и не хуже любого из нас, способен за одно мгновение уничтожить город с восемью миллионами жителей. И сам я был себе противен.

Гришев вернулся к столу и сел на место Кемптера. Он не был ни возбужден, ни обеспокоен, ни зол.

— Вы его знаете? — спросил Фредерикс.

— Лично? Нет, не знаю, но знаю таких, как он. Это мелкая сошка, доставшаяся нам в наследство от Третьего рейха. Мелочь, ничего не значащая дешевка, существо, понявшее, что прежней работы больше нет, и готовое служить по мелочам в надежде, что придет время вернуться к "настоящему делу".

— И что же он вам сказал, Гришев? — спросил я.

— Он работает по найму, но на кого, не знает. Вот что он мне сказал.

— Старая песня, — вмешался Камедей. — На кого я работаю, я не знаю. Очень старая песня.

— Мне пора ехать, — предупредил я. — Дорога не близкая.

— Кинули нам этот мешок костей в руки, а теперь вам пора ехать. — ровным голосом заметил Камедей. — Не понимаю, Клэнси. Видит Бог, сам не знаю, почему я выбрал именно вас.

— Может быть, вы выбрали не того, кого надо, — ответил я. — Но искать другого поздно. Что вам от меня надо? В вашем распоряжении весь полицейский аппарат и вдобавок Гришев. А я преподаватель, и меня ждет аудитория. И мне надо подготовиться. Это не человека бить. Тут думать надо.

Гришев искося поглядывал на меня. Похоже, ему это нравилось, и мне, в свою очередь, нравилось то, что ему это нравилось.

— По-моему, Клэнси прав, — заметил Гришев.

— А я не спрашиваю, кто прав, — с раздражением бросил Камедей.

Уголком глаза я наблюдал за Кемптером. Тот полз по полу, как зверь, и, добравшись до раковины, подтянулся и пустил воду. Гришев смотрел в другую сторону, но когда услышал шум воды из крана, что-то пролаял Кемптеру по-немецки. Тот закрыл кран и встал у раковины.

— Я понимаю, что вам некогда было поинтересоваться, что я об этом думаю, — спокойно сказал Гришев, обращаясь к Камедею, — но, воз-



можно, у меня более объективный взгляд на вещи. Мне кажется, что если мы проведем с Гансом Кемптером еще несколько часов, польза будет несомненной. — Жесткое и спокойное лицо Фредерикса отчужденно обратилось в сторону Камедея. Он кивнул и произнес:

— По-моему, мистер Гришев прав.

— Вы так легко ломаете старые привычки. Мне труднее, — пробормотал Камедей. Затем, внимательно посмотрев на меня, сказал: — Ладно, Клэнси, валяйте на здоровье. Выметайтесь, и живо!

— Спасибо, начальник, — кивнул я и вышел.

Часть пятая

МАКСИМИЛИАН ГОМЕС

Дневной семинар превратился в кошмар. Я все время терял нить дискуссии, делал ошибки, уходил в сторону от вопроса, поправлялся и повторялся, так что студентам оставалось решать, пьян я или рехнулся. Существует старая теория, будто бы преподавателю достаточно готовиться на одно занятие вперед, но к физике это не имеет никакого отношения. Дело в том, что знать надо слишком много и обойти неизвестное нельзя. В общем, когда я кончил, я извинился перед чересчур терпеливыми студентами, объяснив, что чувствую себя не слишком хорошо, и пошел на встречу с Филлис. Но все-таки я пошел на встречу с Филлис. Но все-таки я пошел на эту встречу потому, что хотел с нею увидеться, а не потому, что так надо было по службе.

Филлис ждала у меня в кабинете. На ней было черное платье, она побывала у парикмахера, который уложил ее каштановые волосы в пучок, естественно сочетавшийся с формой головы. Ей было приятно увидеться со мной, она была рада; чуть-чуть раскрытые губы и блеск глаз превратили ее не просто в привлекательную женщину, но чуть ли не в красавицу. Она не изменилась, чуда не произошло; но у каждой женщины бывает минута, когда она оказывается на пороге красоты. Она подала мне руку и выразила уверенность в том, что семинар прошел успешно. Не только не успешно, сказал я ей, но весьма скверно, ибо преподаватель я никудышный. Она возразила и попыталась убедить меня в том, что я хороший преподаватель и могу стать еще лучшим. Я глядел на ее лицо, сегодня такое юное, такое оживленное, и спросил, откуда она знает.

— Это нетрудно, — ответила она. — Если побыть с человеком час-другой, понаблюдать за ним, послушать его, сразу станет ясно, какой он преподаватель.

— А вам нравится преподавать?

— Нравится. Мне никому еще не приходилось объяснять, почему мне нравится и отчего, но мне нравится. Зато это самое утомительное занятие. Иногда я так устаю, что когда кончаю занятия не могу ни думать, ни разговаривать, ни даже заниматься чем-то или кем-то. Я говорю понятно?

— Вполне.

— Но бывают и другие времена, — продолжала она, тщательно подбирая слова, — когда мне кажется, что на свете нет ничего лучше преподавания. Мне трудно объяснить это, но, может быть, вы поймете, что я имею в виду, — ну, когда вы ищете оправдания жизни, существования. У вас никогда не было такого ощущения?

— Бывает, Филлис, — сказал я. — И часто.

— Станный вы человек.

— Все мы странные, так или иначе.

— Не в этом дело. Вы же знаете, что со мной случилось. Мне неловко. Я чувствую себя глупо. Сама себя боюсь. И вообще мне страшно...

— А отчего вам страшно, Филлис?

— Я веду себя неправильно. Правда?

— Неужели вас беспокоит, что правильно, а что нет?

— Беспокоит, потому что я готова признаться, что влюбляюсь в вас. А разве можно говорить такое? Лучше держать язык за замком... Я боюсь, что всему придет конец...

Я ничего не ответил, сел и стал смотреть на Филлис. Через некоторое время мы разом встали, я обнял ее и поцеловал. Необходимо было сделать что-то для себя, а не для Камедея или Фредерикса, не для Нью-Йорка или Москвы, не раздумывая, не вдаваясь в детали, не анализируя, не взвешивая все "за" и "против", обстоятельства и проблемы морали.

Ехать в Грейт-Нек было еще рано. И мы, прежде чем поехать, заглянули в столовую, выпили кофе и покурили. Через несколько минут после нашего прихода появился профессор Ванпельт, остановился у нашего столика, наклонился и заметил, что мы стали неразлучной парой. Либо профессор Ванпельт был привидением, либо его часы совпадали с нашими, либо что-то еще, но он благосклонно наблюдал за нами с завидным постоянством.

Мы проехали почти весь город и направлялись в сторону моста Трайборо. Я спросил Филлис, как отнеслась ее двоюродная сестра к моему появлению на обеде. Она вспомнила, что так и не позвонила.

— Я собралась, — сказала она, — и даже подошла к телефону, но что-то меня отвлекло, и я решила позвонить позднее. Остановимся?

Я был против. Объяснил Филлис, что раз уж мы туда едем, то лучше ехать дальше, а про себя подумал, что есть множество причин, по которым не хотелось бы нарушать ход вечера. К этому моменту мы очутились у въезда на мост: телефон был на противоположной стороне улицы, а разворачиваться тут нельзя. Филлис понравилась сама идея совершить что-нибудь неожиданное и, возможно, позлить двоюродную сестру. Мы миновали мост и выехали на стержневую магистраль Центрального парка. Филлис принялась рассказывать о своей двоюродной сестре Рите Голден, вышедшей замуж за Джека Голдена, обладателя трех или четырех, или даже пяти миллионов долларов, заработанных на импорте сахара. Филлис рассказала об их доме, претензиях, чаяниях, гараже на три машины, где есть и "бентли"; и я обрадовался, что рас-

сказывала она об этом без зависти или раздражения — просто, как о факте. Я терпимо отношусь к бедным, которые не любят богатых, но если нелюбовь на девяносто процентов состоит из зависти, я принимаю другую сторону. Филлис не завистлива; ей, как я понял, безразлично как само богатство, так и его источник; однако она не знала, отнесусь ли я к этому с тем же безразличием. Она объяснила мне извиняющимся тоном, что ездит туда только потому, что у нее очень мало родных. Она не хотела, чтобы у меня сложилось впечатление, будто она ездит к ним потому, что они богаты, или потому, что ей приятно побывать в обществе богатых. Она нервничала, вела себя неуверенно и, кажется, начала понимать, что бросилась в объятия человеку, о котором почти ничего не знает, и раскрылась перед ним. Она не была простушкой — но спасовала перед человеком, в которого, как выяснилось, влюбилась. Она знала очень многое об очень многом — но почти ничего не знала о мужчинах; и я поймал себя на том, что про себя говорю всякую всячину о себе, о Камедее и о том, какой извращенный оборот принимают события.

Затем Филлис замолчала на некоторое время, и мы ехали дальше, не произнося ни слова. Надвигался вечер, на дороге становилось темнее, и салон машины напоминал пещеру, где каждый из нас сидел наедине с собственными мыслями. И когда Филлис, наконец, заговорила, она сказала, что ведет себя как дурочка.

Я с нею не спорил, а лишь заметил, что нам обоим нелегко и самое лучшее — дать событиям развиваться своим чередом.

— Вам не понравится сегодняшнее общество, — предупреждала она. — Эти люди примитивны и вульгарны, и раз они вам не понравятся, вы незаметно перенесете эту неприязнь на меня.

— К вам это не будет иметь никакого отношения, — объяснил я. — Кто бы они ни были, они заведомо не имеют к вам никакого отношения.

К дому Голденов мы подъехали, когда уже стемнело. Однако подъезд к дому освещался двумя яркими лампами, образовывавшими световой полукруг, куда я и втиснулся, поставив свой "форд" впритык к "крайслеру" модели "импириэл", упершемся в задний бампер "кадиллака" с откидным верхом. Дом представлял собой приземистое одноэтажное строение из серого камня, украшенное по фасаду белыми деревянными планками, с венецианскими окнами и горизонтальными уступами. Когда мы позвонили в колокольчик, перед нами распахнулась огромная парадная дверь, соответствующая огромным размерам дома, висящая на бронзовых петлях и украшенная огромными бронзовыми нащепками. Бронзовая дверная ручка гармонировала с бронзовым молоточком звонка. Перед нами предстал дворецкий, или переодетый шофер, или домоправитель, или еще кто-то в черном сюртуке; он принял пальто и провел нас в гостиную внушительных размеров, вся площадь пола которой была покрыта пыльным синим ковром. Гостиная была битком набита французским антиквариатом или вещами, которые для моего неопытного глаза сходили за французский антиквариат. Еще там находились рояль, огромный резной бар — и пятеро. Одна из присутствующих, как выяснилось, Рита Голден, встала

и двинулась к нам. Это была высокая, ухоженная женщина, привлекательная и самоуверенная, с вычурной прической, причем часть волос была искусственно высветлена, а часть покрашена в каштановый цвет. Среди присутствующих была еще одна женщина, позднее представленная нам как Джейн Карлтон: она и Рита Голден казались близнецами, только основной цвет ее прически был желтоватый, хотя так же, как и у Риты, сочетался с каштановыми прядями. Они двигались, как близнецы, разговаривали, как близнецы, реагировали, как близнецы, и в течение всего вечера говорили практически об одном и том же.

Увидев нас вместе, Рита Голден не слишком обрадовалась. И когда Филлис познакомила меня с нею, та едва сдерживала смешанное чувство неприятного удивления и раздражения. Не переводя дыхания, она выпалила, как рада меня видеть и в то же время не понимает, почему Филлис не предупредила ее по телефону или иным способом, что придет не одна. Дело в том, продолжала она, что в эту самую минуту шофер с машиной ждет Филлис на станции. Я понял, что, с точки зрения Риты, приезд со мной без предупреждения абсолютно не вязался с личностью Филлис. С моей же точки зрения, это сборище не вязалось с личностью Филлис. А ее охватило чувство вины, и она несчастным голосом стала излагать последовательность событий, приведших к тому, что мы явились вместе. Я не мешал ее объяснениям и стоял с глупой улыбкой, застывшей на лице, и тут внезапно хозяйка уступила, ввела нас и представила присутствующим.

Муж Риты Джек Голден был плотным, грузным мужчиной старше сорока лет. Несмотря на вес, он хорошо и естественно смотрелся на фоне французского антиквариата, не испытывал, в отличие от жены, ни малейшего беспокойства, и если даже мой приезд оказался неловкостью, он с радостью принимал меня в доме. Муж второй женщины, Фред Карлтон, был, как говорится, кожа да кости, в чем душа держится, но, как мне потом стало известно, занимал важное положение среди сахарных дельцов. А Джейн Карлтон была из тех женщин, чье настроение резко улучшалось в зависимости от увеличения количества выпитого martini и присутствия незнакомых мужчин. Рюмка martini была у нее в руках и тогда, когда нас представляли друг другу, и, судя по тому, как она вцепилась мне в руку, рюмка эта была далеко не первой. Она весьма рада со мной познакомиться, подчеркнуто вызывающе произнесла, она, бросив презрительный взгляд на Филлис.

Выяснилась и причина дискомфорта поведения хозяйки — присутствие лишнего мужчины. Звали его Максимилиан Гомес. Тридцатипятилетний, ростом шесть футов два дюйма, худой, как моги, с кожей цвета меди и очаровательной улыбкой, не сошедшей с лица из-за моего прихода, с полным набором сверкающих зубов, белизна и прекрасная форма которых заставили меня предположить, что это протезы. Он, по крайней мере, вызвал у меня уважение тем, как приветливо отнесся к Филлис. Он проявил такую неподдельную радость в связи с ее приходом, будто это была Мэрилин Монро. Естественнейшим жестом он поцеловал ей руку; с почти незаметным испанским акцентом проинформировал всех присутствующих, до чего он рад познакомиться с

нами обоими, но что он вовсе не собирается скрывать, что в наибольшей степени он рад знакомству именно с Филлис.

К сожалению, Филлис не отреагировала. Она извинилась и вышла, как я потом узнал, в туалет поплакать над тем, что по ее вине вечер превратился в катастрофу. Позднее я узнал и то, что за ней тут же понеслась Рита Голден и стала выпрашивать, зачем она привела такую деревянную чурку, как я, в то время как, не жалея времени и сил, она специально пригласила Гомеса, чтобы познакомить с ним Филлис. Филлис уверяла, что не знала об этих замыслах и понятия не имела о Ритиной идее. Как нам потом стало известно, Рита лгала: ничего она не планировала. Гомес напросился сам, но это стало нам ясно лишь позднее.

Когда Филлис и Рита вернулись в гостиную, я выпил полрюмки мартини и с радостью наслаждался всеобщим интересом к физике. Я узнал, что физика — вовсе не загадочная наука для посвященных, но предмет острейшего интереса для каждого, кто хоть раз ступил ногой на Уолл-стрит и прилегающие к ней улицы. Узнал я и то, что дорога к богатству и счастью ведет не через царство нефти, стали или алюминия, но через страну транзисторов, диодов и кристаллических резонаторов; что атомная энергия не только источник силы, но самый быстроразвивающийся источник прибыли в Соединенных Штатах и что немудрящий профессор из Никербокерского университета был для них чудом и божьей благодатью, поскольку сахарные интересы этих троих не сужали их кругозор и не закрывали от них микрокосм электрона. Даже за столь короткое время общения с ними я преисполнился чувства зависти, потому что их долларово-центовый подход к делу снимал налет ужаса с атомной бомбы. В их мире предмет беспокойства был только один: сделать ставку на "правильный" атом.

Это, по крайней мере, развеселило Филлис. Ей, очевидно, не приходило в голову то, что прекрасно знал я, но чего не знали ни ее родственники, ни их гости: что она знала намного больше об атомной физике в целом и элементарных частицах в частности, чем я, и даже будь в моем распоряжении не две недели, а целая жизнь, я не узнал бы больше. Она была женщиной, да еще бедной родственницей, да еще не замужем, что делало ее в их глазах неудачницей с точки зрения принятых у них критериев.

По правде говоря, ей все это было безразлично. Она прислушивалась к их любопытствующим репликам и с возрастающим удовольствием следила за их вниманием к предмету, и шаг за шагом ее безмолвное отчаяние, принесенное из туалета, стало отступать. И когда нас пригласили к столу, она уже улыбалась.

Филлис посадили между Гомесом и Карлтоном; по мою сторону стола слева села Джейн Карлтон, а справа Рита Голден. Во главе стола в одиночестве восседал Джек Голден и успешно расправлялся с едой, хорошей и разной. А поесть он любил. У него, как мне показалось, было, по крайней мере, пятьдесят фунтов лишнего веса, и каждое блюдо он воспринимал как вызов его способностям. Джейн Карлтон почти не ела, но, покончив с мартини, перешла на вино. Рита Голден попыталась

вспомнить, что она хозяйка, и заговорила со мной. Возможно, для нее это было легче, чем разговаривать с мужем, — а она и не пыталась, — но и этот разговор шел туго. Она задала мне пару пробных вопросов о взаимоотношениях с Филлис, затем увидела всю бесперспективность дальнейших бесед на эту тему и перешла к прикосновениям под столом.

На противоположной стороне стола за Филлис всепоглощающе ухаживал Максимилиан Гомес — именно всепоглощающе. Гомес то говорил громко, то шепотом, то наклонялся, то наливал ей полную рюмку вина, то наваливался на нее — если это вообще возможно, когда человек сидит за столом. Он целиком и полностью завладел ее вниманием, не давая Фреду Карлтону ни малейшей возможности вставить хоть слово. А Карлтон говорил с Джеком Голденом о делах: в основном о сахаре — у них как будто назревала какая-то катастрофа. По крайней мере, так я понял по отрывочным репликам. Филлис то и дело бросала на меня отчаянный взгляд. А я улыбался ей в ответ. Гомес не вызывал у меня никаких чувств, но мне было приятно, что он оказывал внимание одной только Филлис и пытался ее очаровать, не обращая внимания на остальных присутствующих за столом женщин.

В то же самое время я напряженно пытался вспомнить, слышал ли я раньше это имя. Максимилиан Гомес. Даже плохой полицейский приучается запоминать имена, увязывать их с событиями и вспоминать по мере надобности, тем более имя "Максимилиан Гомес" было не из обычных. Я наблюдал за ним; он очень красив — даже чересчур красив — чересчур уверен в себе и чересчур боев, чтобы тратить время на Филлис. Либо его внешность, манеры и одежда заключали в себе обман, либо обман заключался в его ухаживаниях за Филлис. Я был бы круглым дураком и абсолютно никудышным психологом даже в самом примитивном смысле этого слова, если бы не понял, что реальные интересы в области женского пола находятся у Гомеса в совершенно ином направлении. И тут я вспомнил, кто он. Он был ранее женат на одной второразрядной голливудской звезде. Потом развелся. Был героем сенсации в докастровской Гаване, спустив как-то за один вечер в казино девятьсот тысяч долларов. Его фотографировали на яхте, на фоне беговых лошадей и мощных автомобилей, и существовала связь между ним и одним латиноамериканским диктатором-неудачником. Факты всплывали один за другим. Несколько лет назад он попал в заголовки газет, когда политический оппонент его диктатора исчез в Майами при весьма загадочных обстоятельствах, пропав в отеле, где в "люксе" жил Гомес. Я стал вспоминать детали, связанные с исчезновением политического противника диктатора, и мне вдруг стало весьма не по себе, когда до меня дошло, что случай этот чреват далеко идущими совпадениями, ибо пропавший политический оппонент диктатора был по профессии физик; и, вдобавок, для полноты картины и расстановки всех акцентов я припомнил, что главной сельскохозяйственной культурой, на которой основывалось экономическое благополучие страны, подвластной этому диктатору, был сахарный тростник.

На лице у меня сияло сонное благодущие, даже задумчивая грусть,

в то время как я внимательно следил за Гомесом и анализировал тот факт, что он присутствует на обеде в доме в Грейт-Нек, ухаживает за Филлис Гольдмарк и вообще выступает в роли гостя полноватого хозяина дома, влиятельнейшего импортера сахара. Все мягко, точно и ненавязчиво становилось на свое место, и мне стали понятны гнев и возмущение Риты Голден, когда она увидела, что Филлис приехала не одна. Я широко и добродушно улыбнулся, в душе поразившись абсолютной гротескности ситуации: вообразить себе, будто Максимилиан Гомес может стать брачным партнером Филлис Гольдмарк!

Именно в эту минуту он, оторвавшись на некоторое время от Филлис, позволил себе бросить на меня взгляд и увидеть, что я чем-то доволен.

— Простите? — спросил я.

— У вас такой довольный вид, мистер Клэнси.

— Нас так прекрасно принимают и угощают, — заметил я.

Тут вмешалась Джейн Карлтон:

— Мне еще ни разу не попадался человек, носящий фамилию Клэнси; честно говоря, я даже подумала, что такой фамилии не бывает. Вы первый Клэнси, с которым мне довелось встретиться, только вы не похожи на Клэнси. А знаете, на кого вы похожи?..

— Ради Бога! — произнес Фред Карлтон.

Миссис Карлтон осеклась и замолчала. Больше она не проронила ни слова.

— Я занимаюсь разгадкой головоломки, — улыбнулся я Гомесу.

— Вы меня заинтриговали. — Гомес говорил вдумчиво и трезво. — Мне кажется, что работа физика полна таких загадок и разгадок. Все сущее для вас сплошная головоломка, и вы безостановочно пытаетесь сложить ее в единое целое. Или это романтическое представление о предмете, мистер Клэнси?

— Как мне представляется, да, в какой-то степени романтическое.

— Все сущее — это так много! — мягко произнесла Филлис.

— Ну, этой проблемой пусть лучше занимаются философы, — режюмировал я. — Поймите, мистер Гомес, ученый может всю жизнь посвятить разгадке структуры одного-единственного атома.

— И все же живем в такие времена, когда один-единственный атом олицетворяет все сущее. Или я говорю загадками, мистер Клэнси?

— Нет, что вы, — улыбнулся я.

— Поясню, — продолжал Гомес. — Было время, когда "все сущее" понималось как нечто бесконечное. Теперь оно может быть спрессовано в ограниченном пространстве, занимаемом одной атомной бомбой. Так, условно говоря, появляется знак равенства между бесконечно большим и бесконечно малым. Согласны, мистер Клэнси?

До меня дошло, что, складывая в уме досье на Максимилиана Гомеса, я его недооценивал. В нем оказался компонент, не вписывающийся в арифметическую сумму гоночных машин, пони для игры в поло и голливудских жен.

— Как мне представляется, с этим можно было бы согласиться, мистер Гомес, — утвердительно кивнул я, произнося эти слова. — Но физик не может позволить себе быть философом.

Гомес улыбнулся и задумался, действительно ли физик не может позволить себе быть философом.

После обеда мы вернулись в гостиную. Джейн Карлтон заявила, что не слишком хорошо себя чувствует, и Рита Голден повела ее в спальню отдохнуть. Гомес продолжал оказывать внимание Филлис, а я в течение получаса сидел и слушал, как Джек Голден и Фред Карлтон обсуждают разные детали рыночной ситуации с сахаром. Я понял, что надежды, мечты и стремления множества людей связаны с переменами в цене сахара, выражаемыми мельчайшей дробью, и что глубокий и непреодолимый интерес к этим дробным переменам может стать смыслом человеческого существования. В десять к нам пришла Рита и сообщила Фреду Карлтону, что жена его уснула. Он воспринял эту новость с тем же небрежным невниманием, с которым относился к жене в течение всего обеда. Филлис подошла ко мне, Гомес последовал за ней, и некоторое время шел светский разговор о погоде, жизни в пригороде и качестве обучения в местной школе. До меня дошло, что в этом огромном доме есть дети, но в течение всего вечера их не было ни видно, ни слышно. И тут босая Джейн Карлтон, спотыкаясь, спустилась по лестнице и стала "травить" в углу гостиной. Лицо Риты Голден перекосило от злости; Гомес и Джек Голден сделали вид, что ничего не случилось; а Фред Карлтон, матерясь шепотом, поспешил жене на помощь. Филлис попрощалась, извиняясь за ранний уход и сославшись на долгую дорогу и утренние занятия. Единственным, кто попрощался по всем правилам, оказался Максимилиан Гомес, выразивший желание вновь встретиться с Филлис.

Уже по пути в Нью-Йорк Филлис спросила меня, знаю ли я анекдот про мальчика, который бился об стенку и на вопрос, зачем он это делает, ответил: "Зато потом так хорошо!"

— Знаю и понимаю, — ответил я.

— Весь вечер, — продолжала Филлис, — безостановочный кошмар. Том, вы когда-нибудь оказывались в ситуации безостановочного кошмара?

Я кивнул и заметил, что Гомес был к ней более чем внимателен.

— Ужасный человек, — сказала Филлис.

— Правда? Не может быть. Он показался мне весьма галантным кавалером.

— Мне он не понравился, — продолжала она. — С ним что-то не так. И во внешности, и в поступках что-то не так. И в уходе за мной что-то не так. Том, вы знаете, кто он?

— Да, я знаю, кто он.

— Тогда почему же он обращался со мной, будто я прекрасна и очаровательна?

— Потому что не исключено, что вы прекрасны и очаровательны, и, может быть, газеты пишут о нем не всю правду.

— Мне он не понравился. А туда я больше не поеду. Извините, что втянула вас в это.

— А, по-моему, вечер был очень интересным. И не надо жалеть, что повезли меня туда. О чем говорил с вами Гомес?

— Обо всем. О работе, о доме, о том, чем я увлекаюсь. И задавал вопросы: глупые, смешные вопросы.

— Какого рода вопросы, Филлис?

— Насчет бомбы. Я не люблю говорить на эту тему, но он все время возвращался к ней.

— А он не спрашивал, можете ли вы сделать атомную бомбу?

— Откуда вы знаете?

— Подслушал, наверное, — сказал я.

Часть шестая

ДЖОН ВАНПЕЛЬТ

На следующий день занятия у меня начинались после двенадцати, и я смог отоспаться. В одиннадцать тридцать почистил зубы и начал бриться. И тут зазвонил телефон. На проводе оказался начальник полиции Камедей, предупредивший меня, что заедет в течение получаса. Когда я высказал сомнение по поводу разумности визита ко мне домой, он весьма определенно высказался по поводу разумности моего прихода на Сентер-стрит. Больше я не спорил, а лишь выразил готовность с удовольствием принять его у себя через полчаса.

В дверь позвонили, когда я курил первую сигарету и пил первую чашку кофе. Приехал Камедей. Я принял у него пальто, но от кофе он отказался, раздраженно покачав головой. Вместо этого он достал сигару, откусил конец и уселся в кресле лицом ко мне. Сделав несколько затяжек, он осмотрел комнату, окинув профессиональным взглядом книги и мебель. Годы учения и практической деятельности превратили каждый жест Камедея в оперативное мероприятие. Он не просто смотрел на человека: он смотрел обвиняюще. Он не просто бросал взгляд на предмет: он классифицировал его, оценивал и включал в соответствующую категорию. Жизнь его прошла в мире вражды и преступности, и этот мир заставил его дорого заплатить за выживание. Наблюдая, я пришел к выводу, что Камедем может стать любой человек, обладающий достаточной силой, достаточным упорством, достаточной решимостью и умом чуть выше среднего. У меня больше не было амбиций. Я дошел до точки; я уже не способен был вспомнить и четко объяснить себе, почему я стал полицейским, но уже отдавал себе отчет в том, что больше не хочу быть полицейским.

Я курил и пил кофе. Камедей курил и, завершив изучение моих пожитков, сказал:

— Так вот как вы живете, Клэнси!

— Я называю это место домом, — ответил я.

— Много читаете? — осведомился Камедей, окинув взглядом книги.

— Больше, чем положено полицейскому, — отреагировал я.

— Не тяните на полицейских, Клэнси. Я терпеть не могу полицейских, которые философствуют на тему, как они не любят полицейское ремесло, которым они, кстати, зарабатывают на жизнь.

— Но вы-то пришли не для философских дискуссий, — сказал я. Камедей встал, сделав несколько шагов, повернулся ко мне и выпалил, направив на меня сигару:

— Конечно, я пришел не за этим! Я пришел потому, что мне осточертела ваша беготня на Сентер-стрит! Мне осточертело и то, как вы все время лезете не в свое дело. У вас простое задание: найти местопребывание Хортоня при условии, что в Никербокерском университете есть хоть один человек, знающий, где находится Хортон. И больше ничего! Никаких игр в "сыщики и воры"! И не думать, что вы царь и бог, имеющий право отбросить все законы и не считаться с правами, которыми обладает каждый гражданин нашей страны!

Тем не менее здесь мой дом, моя маленькая, жалкая крепость, а не кабинет Камедея. Это он у меня в гостях, и я напомнил ему об этом. И добавил, что мне надоел весь этот бедлам и что я готов хоть сейчас подать в отставку: не только бросить это дело, но и полицейское ремесло. Камедей снова плюхнулся в кресло, затаился сигарой, отрицательно покачивая головой:

— Об отставке, Клэнси, не может быть и речи. Хватит об этом. Меня беспокоит одно: мы топчемся на месте.

— Вы все время говорите мне одно и то же: не сидеть, а искать Хортоня. В вашем распоряжении тысяч двадцать штатных сотрудников полицейского управления, у вас есть специализированные подразделения всевозможного профиля, с вами сотрудничают департамент юстиции, сухопутные войска, военно-морской флот, и вы не в состоянии найти Хортоня; а я его найти обязан. Вы даете мне всего две недели срока и предупреждаете меня, что судьба города зависит от того, сумею ли я подчинить своему обаянию старую деву-педагогиню, и что только так я смогу зацепиться за ниточку, ведущую к Хортону. Это абсолютная бессмыслица. Это такая же бессмыслица, как и все дело, как и вся наша жизнь, как весь этот чертов мир. Хотите знать мое мнение?

— Не мешало бы, — сказал Камедей. — За этим я и пришел.

— А я вам его уже высказал. Я считаю, что неандертальцы, правящие миром, должны собраться, прислушаться к соображениям Хортоня и отказаться от этой проклятой бомбы.

— Нервы! — произнес Камедей, вынув сигару изо рта и разведя в стороны мясистые руки в умиротворяющем жесте. — Мои нервы, Клэнси, ваши нервы, у каждого из нас нервы, и лучше от этого не становится. Жаль, конечно, но вам-то понятно, что для нас не играет роли, запретят они бомбу или нет. Нам тут надо найти Хортоня, а им, в Москве, надо найти Симоновского. И скажу вам еще одно, Клэнси: мы не можем ждать предельного срока. Через десять дней придется все объявить. Такой город за одну ночь эвакуировать нельзя. Потребует время.

Все это время я внимательно смотрел ему в лицо, затем встал, взял чашку с блюдцем и налил кофе.

— Извините, — произнес я тихим голосом. — Разрешите предложить вам чашку кофе. Я варю хороший кофе.

Камедей сунул сигару в пепельницу, подсел к столу и стал почти человеком. Он стал расспрашивать меня, как мне живется одному.

— Худо-бедно, — сказал я. — Думаю, что бывает хуже.

— У меня шестеро детей, — улыбнулся Камедей. — Поэтому я понятия не имею, как это жить одному. — Он попробовал мой кофе и согласился, что сварен он хорошо.

— Как Кемптер? — спросил я.

Он кивнул и отпил еще кофе.

— Как Кемптер, — повторил он. — Поймите, Клэнси, я уже много лет работаю в полиции. Не так-то просто действовать не по правилам. Мы взяли Кемптера потому, что вы нас об этом попросили, и работали с ним двенадцать часов. Теперь мы его упрятали под замок. Что тоже не сахар. Вид у него не из лучших. Но не можем же мы держать его взаперти до бесконечности. Что нам с ним делать? И что случится, когда он рано или поздно обратится к адвокату, а это неизбежно?

— Ну, и черт с ним, — устало произнес я. — Мне плевать на то, что станет с Кемптером. Да и вам плевать. Как-то я прочел в передовой статье одной заушной газетенки, будто нет никакой разницы между смертью одного человека и миллиона человек; но я-то знаю, что разница есть. И составляет она 999999 жизней. Потому я не собираюсь лить слезы по Кемптеру.

— Завидую вам, — пробормотал Камедей.

— Кемптер заговорил?

— Заговорил, но сказал не так много. Да и не о чем особенно было ему говорить. Но все же он заговорил. Русский его разговорил. Кемптер сказал нам, на кого он работает.

Я так обомлел, что минуты две сидел с разинутым ртом и просто глядел в упор на Камедея. И лишь после этого нашел в себе силы поинтересоваться, на кого же конкретно работает Кемптер.

— На человека, которого зовут Максимилиан Гомес, — проинформировал меня Камедей. Затем он достал сигару, закурил и стал держать паузу, упорно и с подозрением глядя на меня пронизательным полицейским взглядом.

Я обдумал сказанное. И заметил, что в этой информации содержится нечто важное.

Камедей пожал плечами, выпуская сигарный дым.

— Важное? Черта с два! Разве для вас, Клэнси, существует что-нибудь важное? Я пытался связаться с вами вчера вечером, чтобы именно вчера вечером обговорить эту новость. Где вы были вчера вечером?

— В обществе Максимилиана Гомеса, — ответил я.

Тут задумался Камедей. Задумался, но не удивился. Ему неприлично было проявить в моем присутствии чувство удивления или потрясения. Тем не менее он задумался. В состоянии задумчивости он выслушал рассказ о прошедшем вечере — и покачал головой.

— Это ни черта не значит.

— Допустим, — согласился я. — Ни черта. А вам не трудно объяснить мне, почему это не значит ни черта?

— Да потому, что мы не нашли Хортон! — взорвался Камедей. —

Неужели до сих пор это до вас не дошло, Клэнси? Мы не нашли Хортон и не приблизились к нему ни на шаг.

— Человек следит за Филлис Гольдмарк, — сказал я, всеми силами стараясь сдержаться. — Затем переключается на меня. Следит за мной. Мы берем его. Он сообщает нам, что работает на Максимилиана Гомеса. А для вас это не значит ни черта.

Камедей встал и зашагал из угла в угол.

— Послушайте, Клэнси, — обратился он ко мне. — У меня нервы. Я могу вспылить. Это ничего не значит. Значит только одно: выполнение поставленной перед нами задачи. Теперь насчет Гомеса и этого таракашки Кемптера. Нам не надо читать друг другу лекции на тему, кто такой Гомес. Он связан с самой грязной страной нашего полушария. Мы оба знаем, что для такой банды означает обладание атомными бомбами, надежно упрятыми в центре Москвы и Нью-Йорка. Это осуществление всех давно вынашиваемых грязнейших мечтаний. Не исключено, что именно они наняли двоих подонков, вручивших вам деньги. А может, и не они. В данную минуту я не знаю. Но неужели вы думаете, что если бы они знали, где Хортон, они бы вступили в контакт с вами?

— Они знают, кто я. Они знают, что я ищу Хортон.

— Конечно, знают. Что вы хотите мне этим сказать? Что в нашем управлении имеет место утечка информации? И так может быть. А может быть, кто-то из тех, кто видел письмо, проболтался, но и этого мы не знаем наверняка. Не исключено, что утечка информации имела место в Вашингтоне. Кто-то может быть подкуплен. В нашей стране при нынешней системе подоходного налога купить можно кого угодно и что угодно. Но это догадки, Клэнси, философские рассуждения, а на догадки и философские рассуждения мне плевать. Меня они не интересуют. Меня интересует одно: местопребывание Алекса Хортон.

— Можно было бы взять Гомеса, — предложил я, потому что мне нечего было предложить.

— Все, что я вам говорю, Клэнси, в одно ухо влетает, в другое вылетает! Взять Гомеса! Попробуй мы только взять Гомеса! За что? Какое мы предъявим обвинение? С ума сошли, Клэнси? Хорошо, допустим, мы его взяли. Ну, и что мы от этого получим?

Я покачал головой. Камедей перестал ходить по комнате и повернулся ко мне, теперь пытаюсь уговорить меня.

— Окажите мне помощь, Клэнси! Мне ничего от вас не требуется — только помощь. Есть только одна нить, один путь, ведущий к Хортону, и вы на этом пути. Он ведет из Никербокерского университета. Только это важно. Только в это мы готовы вложить деньги.

Я не сказал ничего. Сидел и смотрел на Камедея.

— Ладно, Клэнси, — вздохнул он. — Ладно.

Я кивнул.

Он надел пальто и шляпу и вышел. В комнате плавали клубы сигарного дыма. Я раскрыл окно, поймав себя на мысли, как одинокий мужчина, ставший таковым не по своей воле, легко усваивает привычки старого холостяка. После этого я закрыл окно и помыл посуду. Зазвонил телефон.

Звонили с коммутатора на Сентер-стрит. Безымянный, безликий голос на другом конце провода проверил, с кем он говорит, и, убедившись, что у телефона именно Клэнси, спросил, готов ли я выслушать информацию о Ванпельте.

— Иначе бы я ее не заказывал, — ответил я. — Если бы я не был готов ее выслушать, я бы не просил ее разыскивать.

— Какой вы нежный! — произнес голос. — Ну, ладно, слушайте. За ним ничего не числится. Преподает в Никербокерском университете двенадцать лет. До этого в течение двух лет преподавал в старших классах средней школы в городе Пейтерсоне, штат Нью-Джерси. До этого отслужил три года в армии. Пехота, наград нет. В боях не участвовал, но в течение шести месяцев находился в составе оккупационных войск в Германии. Женится в 1938 году. Жена умерла в 1940 году. Причина смерти — пищевое отравление. В обстоятельствах смерти ничего подозрительного не обнаружено, если не считать подозрительным любое пищевое отравление. Ванпельт родился в 1910 году в Аллентауне, штат Пенсильвания. Начальную и неполную среднюю школу кончал в Аллентауне. Высшее образование получил в Пенсильванском университете, предварительно закончил там же подготовительный курс. В 1934 году ездил по Европе. Где был и что делал, мы не знаем, но ожидаем, что получим и эти сведения. Вот пока что все.

— Больше ничего?

— Будет и больше, но через некоторое время. Успокойтесь, Клэнси, мир от этого не перевернется. Дайте нам время.

— Конечно, — сказал я. — Вам спешить некуда.

Днем у меня была лекция на тему "Пояса Ван Аллена". Тема для меня трудностей не представляла, поскольку теоретическая часть четко разработана и не требует математического аппарата. По правде говоря, большинство сведений, которые я собирался преподнести, любой грамотный человек мог почерпнуть из газет. Но в момент, когда я рассказывал о внешнем кольце и остановился на теории, согласно которой пояс этот состоит из электронов, излучаемых солнечной короной, в аудиторию вошел Ванпельт и сел в последнем ряду. В этом не было ничего необычного: профессора на физическом отделении часто ходят друг к другу на лекции. Но, с другой стороны, все мои мысли вернулись вокруг Ванпельта. Ванпельт стал героем моих снов наяву. Я начал делать оговорки посреди фразы, пересказывать ранее сказанное, спотыкаться и переходить к чтению по бумажке. Читать лекции мне и так было трудно, а тут присутствие Ванпельта лишило меня ожидаемой легкости.

Когда я наконец кончил, вокруг моего стола собралась небольшая группа студентов, вынесших на мой суд вопросы и сомнения. Ванпельт продолжал сидеть в последнем ряду. Я как мог удовлетворял любопытство студентов, и когда последний из них ушел, Ванпельт встал и подошел ко мне, когда я уже убирал записи в портфель. Улыбка его, как всегда, была многозначительной и противной. За ней скрывалось предположение, что мы оба являемся обладателями одной и той же тайны.

- Мне очень понравилась ваша лекция, Клэнси, — заметил он.
- Не может быть! Я читал паршиво!
- Быстро же вы выходите из себя! — с улыбкой произнес Ванпельт.
- А в чем дело?
- Хотелось бы пригласить вас, Клэнси, — сразу же нашелся он. — Выпить вместе со мной. Успокоить нервы.
- Мои нервы в полном порядке.
- Ну, так просто выпьем.

Мы оценивающе поглядели в глаза друг другу. Улыбка его казалась естественной; насмешка мне только померещилась. Я закрыл портфель и принял его приглашение. Мы вышли из здания университета и пошли по Бродвею в тот же самый бар. Ванпельт заказал джин и горькое пиво. Я — виски со льдом. Мы присели, выпили, посмотрели друг на друга, и тут Ванпельт предложил мне дружбу.

— Не знаю, — вежливо отреагировал я. — Не знаю, получится ли у нас дружба, профессор Ванпельт. Я не знаю, хочу ли я с вами дружить.

— Отчего?

— Я как-то не представляю вас в роли друга.

— Поспешное суждение, Клэнси, — сказал Ванпельт. — Вы недостаточно хорошо меня знаете, чтобы судить, нравлюсь я вам или не нравлюсь.

— Я достаточно хорошо вас знаю, чтобы понять, что вы мне не нравитесь, — сказал я. — У вас, конечно, есть свои резоны навязывать мне свое общество. Но я от него вовсе не в восторге.

— И все же вы разрешаете мне платить за вас. — Он сделал вид, что огорчен, но не слишком.

— Из любопытства. Допустим, мне любопытно знать, по какой причине я стал предметом вашего внимания. Я не любезничал с вами, Ванпельт. Я даже был с вами груб. Так чего же вы хотите?

— В широком или узком смысле слова, Клэнси? — улыбнулся Ванпельт. — Если вам хочется узнать, чего я хочу вообще, то дам вам простой ответ: хочу того же, чего хочет любой американский ребенок. Хочу денег, хочу всего того, что сопутствует деньгам, хочу власти, позволяющей иметь и то, и другое. Согласитесь, Клэнси, что это нормальное и здоровое желание.

— Вы так думаете?

— Да, я так думаю! Но если вас интересует, чего я хочу от вас, то это уже явно из другой оперы. Вы любопытны. Я тоже любопытен. Мне любопытен человек, занявший должность Алекса Хортонa, но ничего не знающий про самого Хортонa: ни того, кто он такой, ни того, чем занимается и что с ним случилось. Мне также любопытен преподаватель высшего учебного заведения, который носит с собой оружие.

— А разве у меня с собой оружие, профессор Ванпельт? — осведомился я.

— Полагаю, что да. Конечно, я могу ошибиться. Я ошибся, мистер Клэнси?

Я пожал плечами.

— Если я ошибся, наша беседа бессмысленна. Но тогда бы вы мне сказали, что она бессмысленна. Честно говоря, мистер Клэнси, ваш успех в роли преподавателя весьма умеренный. Слишком много лет провел я в преподавательской среде, чтобы понять, что вы не только исключение, но обладаете совершенно другими профессиональными навыками. Что ходить вокруг да около? Полагаю, что мне известно, зачем вы здесь, Клэнси, и поскольку вы сами прекрасно знаете, зачем вы здесь, то о каком секрете может идти речь?

— Знаете, так скажите.

Ванпельт пожал плечами.

— Если вам угодно. Раз не знаете, какая разница. Думаю, что вы ищете Алекса Хортон.

— А почему вы так думаете, профессор Ванпельт?

— Да потому, что я как математик умею складывать два и два, в результате получаю четыре. Думаю, что вы ищете мистера Хортон и потому отправной точкой избрали Никербокерский университет. Это, конечно, лишь предположение, но предположение логичное и обоснованное. И еще я думаю, что местопребывание мистера Хортон представляет собой информацию особой важности. Если вы следите за ходом моих рассуждений, то поймете, что я пришел к этим выводам самостоятельно. Но хотелось бы добавить, что мне любопытно знать о местопребывании мистера Хортон еще и потому, что такая информация потенциально несет в себе значительную финансовую выгоду. Предположим, что у меня, братец Клэнси, есть связи с такими людьми, которые, возможно, полагают, что обладание секретом местонахождения Алекса Хортон принесет им выгоду. Вас интересует такое предположение?

— Я уже сказал вам: в широком плане меня интересует ваше любопытство.

— Прекрасно. Прекрасно. — Ванпельт допил свой стакан и заказал еще. Я отказался, и Ванпельт понимающе улыбнулся. — Итак, полагаю на ваш интерес.

Ему принесли заказ, и он снова выпил, захватив из тарелки горсть орешков.

— Значит, я полагаюсь на ваш интерес. А теперь предположим, мистер Клэнси, что некто готов заплатить большие деньги за секрет местопребывания Хортон.

— Предположим, что никакого секрета не существует. Предположим, что Хортон нет в живых.

— Предполагать мы можем хоть целый день. И все же я предпочитаю здравый смысл. А здравый смысл заключается в том, что секрет профессора Хортон действительно существует и что профессор, как я уже сказал вам, жив. И вот я говорю вам: "Предположим, что за секрет профессора дадут большие деньги".

— А что такое "большие деньги"?

— Вопрос интересный и по существу. Что такое "большие деньги"? Чтобы заинтересовать вас, "большие деньги" должны быть действительно большие. Ибо по всем внешним признакам вы производите

впечатление честного человека. А честный человек стоит дороже нечестного. Согласны, мистер Клэнси?

— Звучит разумно.

— Тогда назовем круглую сумму: полмиллиона долларов.

Тут улыбнулся я и, когда он спросил, о чем я думаю, сказал:

— Думаю, что вы жирный, противный, слишком много пьющий дурак. Думаю, что если бы у вас было много денег, вы бы стали пьяницей. Противным, невыносимым пьяницей.

Лицо Ванпельта приобрело жесткое выражение. Глаза прищурились.

— Повторяю: полмиллиона долларов! — прошептал он.

— Надоело, Ванпельт, — предупредил я. — Вы начитались скверных книг. Вдобавок вы дурак. Вам нравится играть в игры, от которых не будет проку. И вообще вы мне надоели. А вот вам за выпивку. — Я вынул из кармана пять долларов и положил их на стол. — Мне плохо в вашем обществе. Мне будет лучше без вас. Еще раз говорю: мне в вашем обществе плохо.

Тут я встал и ушел, но Ванпельту я сказал не всю правду. Мне в его обществе было не только плохо, мне было страшно, а страшно мне было и без его помощи.

Когда я вернулся в университет, шел дождь. Холодный, пронизывающий мартовский дождь, то накрапывающий, то льющийся ручьем. Холодно, мокро и неудобно: погода будто хотела предупредить, что светлые обещания весны давно забыты. Я их тоже забыл. Я чувствовал себя на крючке — утомленным и опустошенным. Ухмылка Ванпельта на жирном лице плясала передо мной. Наклонив голову, я побежал под крышу. Дрожа от холода и дождя, я прибежал к себе в кабинет. Одежда на мне стала мешковатой и бесформенной. Я предполагал посидеть, поработать, но теперь мне захотелось уехать домой, снять с себя все мокрое и залезть в горячую ванну.

Я сидел дрожа и никак не мог согреться. Тут кто-то постучал. Это оказалась Филлис. Она вошла, окинула меня взглядом и спросила, не заболел ли я.

— Нет, все в порядке, — успокоил я ее, — устал немного, а так ничего.

На лице у нее написано сочувствие: сочувствие и тревога, обращенные ко мне, которых я давно не видел на лице у женщины.

— Вам надо отдохнуть, — сказала она. — Я знаю, как трудно вам приходится.

— Правда? — улыбнулся я.

— Вам так идет улыбка, — сказала Филлис. — Все лицо меняется, и вы это знаете.

— Никто этого не знает. Нельзя улыбаться самому себе в зеркало: ничего не получится.

— Получается, — возразила она. — Я сегодня улыбалась сама себе в зеркало. Знаете, я рассказала о вас маме. Глупо, правда, для женщины моих лет рассказывать о ком-то маме?

— Совсем не глупо, — сказал я. — И что же вы обо мне рассказали?

- Что вы очень милый, добрый, нежный и предупредительный.
- Так и сказали?
- И даже больше. Что вы еще и интересный. И теперь она за меня беспокоится и попросила меня пригласить вас прийти к нам завтра вечером на обед.
- Потому что она за вас беспокоится?
- Именно, — сказала Филлис. — Так вы придете?
- Конечно, приду, — ответил я. — Приду с радостью.

Мы договорились встретиться завтра во второй половине дня и поехать к ней на моей машине. И сразу же я направился в центр. На этот раз машина оставалась дома. Дождь все еще шел. И я прошел в метро и под еще более сильным потоком от метро до дома. Мне было все равно — я уже промок до мозга костей.

Открыв дверь квартиры, я в ужасе замер на пороге. Без меня тут кто-то побывал в поисках ста пятидесяти тысяч долларов. Искали как следует. Мебель перевернута, диванные подушки вспороты, а их содержимое вывернуто. Все ящики вынуты и вывернуты на пол. Книги сброшены с полок и раскиданы по полу, будто они представляли сами по себе объект ненависти. В спальне та же картина: вывернутые ящики, развороченная постель, вспоротые матрасы. Снятые со стены картины, вырванные из рам и разрезанные на куски. Лохмотья обоев, свисающие в тех местах, где их проверяли ножом. Порванные занавески — сдернутые с крючков и шарниров.

В молчаливом отчаянии я шел по руинам своего бывшего мирка. За что-то хватался, что-то поднимал, что-то пытался исправить. Но действия мои носили скорее символический, чем практический характер. Болели тело и душа. Я пытался вычислить, что же произошло, думая про себя, что лучше бы все мое имущество поглотил пожар. Чисто, легко, просто; можно все начать сначала; но тут делать было нечего: все разорвано и поломано.

Я разделся, налил ванну горячей воды и благодарно вплез туда. И пролежал больше часа, добавляя воду по мере надобности. Лежал и пытался рассуждать. Рассуждать об огромном хулигане-тяжеловесе по имени Джеки и о его партнере мистере Брауне, в руках которых были его сто пятьдесят тысяч долларов, врученных мне в качестве задатка за будущие услуги. Рассуждать о профессоре по имени Джон Ванпельт, оперировавшем еще большей суммой в размере полмиллиона долларов. Я попытался свести концы с концами и найти разумную, логическую связь между событиями, но мне не удалось додумать до конца, ибо в последовательности событий не было ни разума, ни логики.

Я страшно устал. После ванны взял свежее белье, заткнул дыры в матрасе и застелил постель. Потом лег, натянув одеяло на подбородок. Было всего девять вечера, но я уснул мертвым сном и беспробудно проспал двенадцать часов, даже не пошевелившись во сне.

Утром я был в состоянии оценить характер ущерба и начать наводить порядок.

Окончание следует

ЧЕРНЫЕ ПЯТНА ЛЕОПАРДА

Летом прошлого года американская писательница Джил Файергальд вместе с детьми из Советского Союза, пострадавшими во время аварии на Чернобыльской АЭС, побывала в одном из скаутских лагерей в Швейцарии. Об этом она рассказала в очерке, опубликованном в журнале "W" ("Даблю"), с которым мы хотим познакомить и наших читателей. И еще нам очень хотелось бы сердечно поблагодарить Джил Файергальд за ту огромную благотворительную деятельность, которой она занята сегодня для того, чтобы достать необходимые средства на продолжение международной акции "Солидарность с детьми Чернобыля".

ДЖИЛ ФАЙЕРГАЛЬД

Почти четыре с половиной года назад, 26 апреля 1986 года, произошел взрыв на атомной электростанции в Чернобыле. И лишь теперь, когда Россия становится открытой, раскрылась истинная правда и полнее уяснились устрашающие размеры катастрофы. Пострадало население Белорусской республики, на которую пришлось 70 процентов радиоактивных осадков. На ее территории от трех до четырех миллионов человек живут в зараженных районах. Они просят у мира помощи для своих детей, чьи жизни навек переменяла радиация.

Весной прошлого года у русского посла в ЮНЕСКО

Владимира Ломейко родилась идея. Он захотел, чтобы детей из наиболее пораженных радиацией районов России вывозили на месячный отдых. ЮНЕСКО дало согласие, но кто оплатит расходы, связанные с вывозом 1.235 детей Чернобыля, и где они будут находиться?

Трое друзей детства из Вевэ, Швейцария, в свое время состоявшие в одной группе бойскаутов, а потом вместе работавшие в Международном Красном Кресте, внезапно стали живыми катализаторами в реализации этого необычайного плана.

Первый из них, директор службы связи ЮНЕСКО Ален Моду, снял телефонную трубку и позвонил своему другу Жаку Морейону, ныне стоящему во главе Всемирной организации скаутов, передав ему это предложение. Морейон с восторгом принял эту идею, поскольку она, по его мнению, может возбудить у молодежи всего мира повышенный интерес к вопросам защиты окружающей среды. Скауты уже привлекались к осуществлению таких проектов, как лесонасаждение и строительство ирригационных каналов, а также рытье колодцев.

Морейон был в состоянии организовать места для детей Чернобыля в скаутских лагерях, а также в семьях, но у Всемирной организации скаутов не было средств. Последовал телефонный звонок к третьему из друзей – Филиппу

Гран д'Отвиллю из "ПРО-ВИК-ТИМИС", частного фонда, помогающего забытым жертвам катастроф. Было выделено примерно 400.000 долларов, то есть около 300 долларов на ребенка.

Все, казалось, было решено, но как дети поедут? "Аэрофлот" не был настроен совершить акт благотворительности, так что послу Ломейко пришлось позвонить в Москву одному из ближайших помощников Президента Горбачева. Через три недели русские военные самолеты развозили детей Чернобыля по 15 странам Европы.

Дети отбирались председателем Советского детского фонда Альбертом Лихановым. Это мальчики и девочки в возрасте от 13 до 15 лет, в большинстве своем либо сироты, либо из малообеспеченных семей колхозников. Все – из сильно пострадавших от радиации районов. У всех этих детей физические и психологические травмы.

Одетые в серые хлопчатобумажные брюки и блузы (голубые у мальчиков и розовые у девочек), усталые, бледные и низкорослые для своих лет подростки приземлились в различных пунктах назначения, имея при себе минимальный багаж. С ними прибыли переводчики в возрасте от 18 до 22 лет.

Одна из групп прибыла в Швейцарию, и с самой первой минуты прибытия их потряс цвет: ярко раскрашенные

объявления и афиши. И вдобавок магазины, битком набитые товарами, люди в аэропортах, на улицах и вокзалах. К тому же продукты, которых они никогда не видели или не пробовали, — например, бананы. Обмен жизненным опытом шел по двум линиям: ребенок — ребенок и ребенок — взрослый. Все узнали, что такое быть ребенком Чернобыля — без родителей, без дома и больным, жертвой техники XX века и человеческой беспечности. Дети в свою очередь узнали, что такое более свободно самовыражаться и действовать по собственной инициативе. Они научились смеяться, дышать свежим воздухом, здороветь и крепнуть, заводить друзей. Они узнали, что люди близко к сердцу принимают их беду и даже готовы усыновить и удочерить их.

Мы побывали у Александра Бонифея, руководителя лагеря бойскаутов, неподалеку от Марселя.

— В нашем лагере мы наблюдаем за лесными пожарами, — сказал он. — Сухая погода и ветер способствуют распространению пожаров. Они представляют собой постоянную угрозу.

Мальчики и девочки узнали, что это такое — обеспечивать заблаговременные предупреждения французским пожарным. Вооруженные картами, биноклями, компасами и портативными рациями, дети посменно дежурят на вершине горы, внимательно наблюдая

за местностью в поисках подозрительного дыма. В течение месяца было замечено и прекращено пятнадцать пожаров. Подростки ощутили, что они спасли часть среды обитания. Для юноши и девушки моложе двадцати лет такое свершение — настоящий подвиг.

Они узнали и о других проблемах загрязнения среды обитания — проблемах, связанных с морями и реками. Когда они впервые ели во Франции, они были столь стеснительны, что принимали пищу стоя, но вскоре они научились вести себя свободно. Несмотря на все свои страдания, они были полны тепла, энтузиазма, вели себя просто и открыто. Любовь и дисциплина не противоречат друг другу. Чтобы все шло, как надо, необходимы взаимопонимание и организационная структура. Когда они глядели на карту, они были потрясены дальностью расстояния. "Как нам удалось заехать так далеко?" — удивлялись они. Я люблю этих детей, и мы попросили русских, чтобы этим детям дали возможность приехать еще. Если они не смогут, то мы поедем к ним. В глубине души я все время задаю себе вопрос, увижу ли я вновь этих детей живыми.

О детях Чернобыля я узнала в Швейцарии, в Гриндельвальде через двадцатидвухлетнего переводчика Сашу. В лагере находились сто мальчиков и девочек. Когда я спросила, какой у них самый любимый вид спорта, никто не дал

ответа. Футбол европейский? Футбол американский? И опять нет ответа. Саша перебил меня. Они не играют в спортивные игры, сказал он. Они не бывают на воздухе из-за радиации. Они живут в помещении, полдня в школе, полдня дома – все время в четырех стенах.

Физическое состояние у них все время ухудшается. Жизнь на природе потрясла детей, их поразили чистота и прозрачность воды, красота и чистота ландшафта, возможность спать на земле в палатках. При звуках слова "Чернобыль" в глазах у них появляется страх, а у некоторых даже слезы. Выражение их лиц свидетельствует обо всем. Их лица – отражение нашего внешнего мира и их внутреннего.

Но, как говорит Саша, "по прошествии четырех лет мы должны постараться избавиться от этого и жить нормально, иначе мы не сможем жить вообще, но все мы оптимисты. Мы – сельскохозяйственная страна, и мы должны есть, значит, мы должны сажать и сеять. Здесь все говорят о среде обитания, но дома у нас множество проблем, связанных с питанием, жильем и одеждой, – не хватает кофе, сахара, муки и макарон, однако теперь, после поездки в чистую и красивую Швейцарию, мне хотелось бы привезти домой новые идеи. Я не хочу жить в Швейцарии, но хочу привезти Швейцарию к себе домой.

Материальный комфорт у нас незначителен, зато сущест-

вуют человеческие отношения. Это самое главное. Мы никогда не видели или не ели тропических фруктов: бананов, ананасов или манго. Так странно видеть, как объединяется Европа, а у нас в России все мы идем врозь, теряя силу. Теперь, когда Россия переменялась, мы пробудились – зажегся свет. Мы можем думать самостоятельно, выражать себя. Раньше мы просто плыли с потоком, по течению и не задавали вопросов.

Мы можем спорить. В споре рождается решение. Я не слишком религиозен, но чувствую, что у каждого человека в глубине души есть свой собственный бог. Человек – часть природы. Одно от другого неотделимо. Разрушая природу, мы убиваем человека. Это элементарное самоубийство. Мы все на этой планете связаны друг с другом. Если мы развяжем один узел или погубим даже что-то одно, раздастся эхо, начнет разворачиваться цепная реакция. Сегодня от многочисленных разговоров пора приступить к делу. Происходящее на этой планете зависит от человека. Грустно будет уезжать, но у меня ностальгия по своей стране. Я люблю мою страну. Я спрашиваю себя, увижу ли я всех здесь еще раз".

На чае в русском посольстве мы говорили о положении в Чернобыле и его долгосрочных последствиях с послом Ломейко (инициатором идеи поездки детей Чернобыля на от-

дых на Запад). Посол Ломейко назвал радиацию невидимым врагом, или "черными пятнами леопарда", проступающими по всей стране. Эти черные пятна без конца распространяются по земле.

Этого невидимого врага нельзя услышать, почуять или ощутить. Это неслышно подкрадывающийся хищник, медленно убивающий и порождающий феномен мутации у флоры, фауны и человека. Листья растений более не напоминают свой первоначальный вид ни размером, ни формой. Деревья либо полностью гибнут, либо разрастаются в десять раз больше нормальных размеров. Рождаются животные-уроды, с двумя головами или восемью ногами.

Ветер, птицы, семена и животные разносят врага-невидимку. На одном конце деревни внезапно появляется радиация, в то время как другой конец остается чистым. Радиус распространения черных пятен все время ширится. Дети находятся в состоянии страшнейшего физического и психического стресса. Все выглядит нормально, в то же время все целиком и полностью ненормально.

Дети страдают от заболеваний печени, щитовидной железы и носоглотки, у них появляются кровотечения из носа, головные боли и лейкемия. Порог иммунной системы опасно понижается. Каждый день они едят радиоактивную пищу. Они почти не знают, что

такое радоваться жизни. Трагедия заключается в том, что тело не ощущает сразу же радиационной болезни. Смерть наступает медленно. В районе Чернобыля никто не сможет жить сотни лет. Никто — ни люди, ни животные. Почва мертва. Мертвы деревья. Припят, город неподалеку от Чернобыля, был образцовым поселением на 45.000 человек, с прекрасными садами. Квартиры теперь пусты, но до сих пор можно увидеть заставленные постели, детский сад с матрасами и одеялами, книги, сложенные на полку городской библиотеки. Дезактивация обойдется слишком дорого, и со временем дома разрушатся сами собой.

В лесу вокруг Чернобыля стоит мертвая тишина. Нигде ни малейших признаков жизни. Сейчас мы больше всего нуждаемся в человеческом сострадании в мировом масштабе, в большей терпимости, в большей щедрости и великодушии и в большем желании понять друг друга. В конце концов, все мы — дети Чернобыля.

Я позвонила Саше в Минск, чтобы передать ему привет. Мы были рады услышать голос друг друга, и вдруг он сказал: "Когда я приехал домой, то узнал, что моя маленькая дочь Елена (ей один год) в больнице. Ее положили за неделю до моего приезда. Мы очень встревожены".

Перевел с английского
Владимир ЛЬВОВ



ДНЕВНИК НАТАШИ

9 КЛАСС

Август

Папик взял на море фотоаппарат, а я тетрадь. Он должен был оставить память о море в снимках, а я в записях. Но снимки у папы из-за отсутствия светофильтров не получились. А мне писать в тетрадь оказалось совершенно нечего.

На море не особенно понравилось. Я почему-то долго не могу отдыхать. Шляться каждый день на пляж, где яблоку негде упасть и

где отдельные личности мужского пола раздевают тебя взглядами, трястись в трамвае на другой конец города в кинотеатр, где, по слухам, идет потрясающий фильм, а он потом оказывается всего-навсего серенькой мишурой, — это быстро надоедает.

Я заметила, что не только меня эти личности на пляже раздевают взглядами. Но самое противное, что не всех эти взгляды оскорбляют. Такое поначалу занимало, потом начало раздражать, я поссорилась с папиками, на пляж больше не ходила, оставалась в домике

– Вы меня не узнаете?

Я повернулся на этот чистый, звонкий голосок и узнал Наташу. Я обрадовался этой встрече. Невысокая, ладненькая, голубоглазая Наташа была ученицей обычной, но взгляд задерживался на ней чаще других. От себя не скрывал: девушка мне нравилась. Когда по расписанию был урок в ее классе, я ждал встречи с ней. Почему ждал встречи именно с ней? Сейчас знаю точно. Наташа была тем человеком, с которым можно было поговорить на равных. Она никогда не кривлялась, не старалась выделиться среди сверстниц внешностью, которой природа наделила ее достаточно щедро. Еще Наташа отличалась особой, откровенной искренностью.

Наташа засыпала меня вопросами.

Я сопротивлялся:

– Какие новости в школе? Как поживает ваш друг учитель истории? Как сын, все такой же чудной? А кушать стал уже лучше?

– Нет, ты лучше расскажи о себе.

– Расскажу...

В ближайшем от места нашей встречи баре было сумрачно и немногочисленно. Откровенного разговора не получалось. Я лишь узнал, что через три недели Наташина свадьба, она ждет этого события и очень боится его.

– Замуж я выйду, – запивая кофе холодной минеральной водой, рассуждала девушка, – только сложится ли у меня хорошая семья?.. Совсем в этом не уверена.

Девушка вздохнула и опустила глаза.

– У меня есть дневник...

Всю ночь я читал дневник, читал и перечитывал скупые Наташины записи, ее мысли, в том числе и обо мне.

Вот эти редкие, предельно искренние записи...

Сентябрь

У нас новый предмет – этика семейной жизни. Сейчас об этом все только и говорят. Впрочем, не столько о предмете, сколько об учителе. Он мужчина. Молодой. Говорят, даже неженатый. Но что

толку, если он как медведь. Неповоротливый до предела. Как сел за свой стол, так и вешал о себе и своей незаменимой науке, словно диктор на радио. Но потом, правда, вышел из своей крепости и начал изучать нас. Это оказалось более менее интересным. Обычно учителя называют фамилии и просят встать, а этот предложил каждому написать о себе объявление, как бы для газеты, но в газету обещал не передавать. Так как объявление пятнадцатилетнего человека может показаться абсурдным, В.Ч. – так мы его между со-

бой окрестили – попросил сфантазировать, что нам уже года по 22. Не знаю чем, но Ленке этот новенький (медведь) понравился, она написала, в шутку конечно, что "длинноногая, черненькая учительница с серьезными взглядами на семью хотела бы встретить чуткого, доброго мужчину до 30 лет, желательно педагога, специалиста в области семейных отношений". Интересно, как примет В.Ч. такое? Небось со следующего урока глазами начнет стрелять по Ленке. А может, побоится глянуть в ее сторону?

Мне лично В.Ч. не понравился. Меня раздражало то, что он какой-то не такой, как все учителя, я не могла понять, рисуется он для того, чтобы нам понравиться, или взаправду такой. Хотелось бросить вызов, и я написала: "Голубоглазая стюардесса мечтает об инопланетянине, ничего не смыслящем в области семейных отношений".

Я, кажется, сошла с ума. В десятом классе появился новенький, зовут его Павлик, увидела сегодня на комитете комсомола и поняла, что влюбилась. У меня и раньше был друг Сережка, но тот именно друг, а в этого я втрескалась с первого взгляда. Он симпатичный мальчик, скромный, а речь говорил – так заслушаешься! У Павлика модная стрижка, безукоризненно выглаженный костюм, тонкий галстук (хотя многие вообще не носят). Глаза грустные, а ресницы длинные и густые, слегка выющиеся волосы. Павел мне сразу понравился, но я поняла, что влюбилась, когда он заговорил. Он говорил правдиво и логично, всех смог убедить в своей правоте.

Хорошо, что он имеет уверенность в себе, лишь легкий румянец появился на его щеках в конце выступления.

Что же мне теперь делать? Как обратить на себя его внимание?

У меня все по-прежнему. Школа – дом – школа – библиотека – изредка клуб – опять дом, опять школа. Структурная формула. Верно? Или нет? Уже устала. Устала от уроков, от физики и математики, от скрипучего "ангельского" голоса англичанки, от факультативов. Папа и мама подшучивают, что, мол, мне еще целый год учить. Да. К сожалению. Надоело. Проклятые уроки крадут и пожирают каждый день немало времени. Завидую людям, которые могут целый день читать. Над душой у них не скрипят тангенсы разности двух углов, не ноет своими формулами химия, даже этика не напоминает о своих законах самооценки, самовоспитания и перевоспитания.

Ну, хватит об этом. Смех да и только.

Изо всех сил рвусь написать что-то умное, историческое, но все мысли о Павле, в голове полнейшая неразбериха, кошмар какой-то!

Октябрь

В.Ч. смотреть на Ленку не избегал и на ее продолжительные томные взгляды никак не реагировал. Каждый раз после звонка он оставлял в классе одного из двух наших, сегодня пришла очередь моя и Ленки. На полном серьезе он одобрил ее выбор насчет учительства и то, что в мужья хочет тоже учителя, родственную душу, значит. Я едва не подавилась от сме-

ха: подруга на самом деле мечтает стать стюардессой.

В.Ч. сказал, что зарплата у бортпроводницы 90 рублей. Ленка, дура, тут же и выдала себя. Брякнула, что мы не за деньгами в небо собираемся, а за романтикой. Тогда В.Ч. долго и занудно начал объяснять, что это за романтика. За три часа полета, бывает, присесть некогда. Нужно что-то постоянно объявлять, кормить пассажиров, поить, разносить сувениры, прессу. А в порту тоже забот полон рот. Уборка салона, сдача и прием багажа, почты. В лучшем случае удастся сбежать в здание аэровокзала, а чтобы в город попасть — и думать нечего.

Умора этот В.Ч. Но я делала вид, что слушала с вниманием.

Но, милый дневник, больше всего меня волнует то, что все попытки обратить на себя внимание Павлика оборачиваются крахом. Я скоро сойду с ума. Правильно говорит наша подруга Светка: любовь — это река, в которой тонут два дурака. Если бы два. Тону пока только одна я. Вместе с Павликом мне было бы тонуть интересней.

Что же делать? Как повернуть его глаза в мою сторону? Ленка советует подойти, спросить мнение В.Ч., но нет уж, это сущая дикость — говорить о своих сердечных делах со школьным учителем. Тем более с В.Ч. Что он в этом смыслит?

Я знаю все его дороги, стараюсь встретить на улице, чаще попадаться на глаза. Сегодня повезло. Я увидела Павла в компании мальчишек, они прятались за школьной теплицей. Все курили. Но что мне все? Курил мой Павлик. Интерес-

но, какие сигареты он предпочитает. Я только сейчас поняла, что совершенно не знаю ничего об его вкусах и интересах.

Уроки я за этот месяц почти не делала, так как все время думала о Павле. Хотя в принципе у меня в школе все "олл райт"! Дела ничего, хотя они оставляют желать лучшего. Намечается четыре "четверки" за четверть (бр-р). Очень приятно. И весьма. Что-то скажут мои папики. А я? Жизнь не малина. От этих премудростей голова кругом. Сегодня биологичка вдруг надумала меня спросить про синтез белков. Замашки у нее не самые приятные. У человека две "пятерки", и в то время, когда на уроке сидит директриса, ей вдруг вздумалось меня помучить. Но все в ажуре — 5! Поздравим сами себя.

Ночью мне приснился сон, что мы с Павлом, взявшись за руки, идем по чистому полю, провожаем закат. К чему бы это, а? Сейчас же надо пойти и посоветоваться с Ленкой.

Ноябрь

Ленка выдра — проходу не дает В.Ч. И что она в нем нашла? (То ли дело Павел!!!) В коридоре, на улице его цепляет. Один раз даже из учительской осмелилась вызвать. Припекло ей срочно узнать, откуда он все так хорошо знает о работе стюардессы. Оказывается, В.Ч. учился на факультете журналистики, на практике летал с экипажем много раз и писал об этом в газете, значит, работу стюардессы знает не по фильмам, ему можно верить.

Ленка откопала откуда-то ста-

рый журнал – там статья В.Ч. Он один раз, замаскировавшись, собирал материал для фельетона о "черном рынке", сильно рисковал, почти как в детективе все. Учитель способен на поступок – вот никогда не подумала бы!

Теперь мы с Ленкой решаем, а может, переквалифицироваться в корреспондентов?

Ну и вопросик подкинул сегодня на уроке В.Ч.! Хотели бы мы, чтобы отношения в наших будущих семьях были похожи на отношения между нашими папиками? Ну, нет! Я бы лично не хотела. Моя беспокойная маман может накричать на отца, меня, разгорячившись, огреть мокрой тряпкой, везде и во всем отстаивает свое "я", хоть и не права. Я такой, конечно же, никогда не буду, не представляю, как можно закричать на моего умного и интеллигентного Павлика?

Я встретила сегодня на улице Сережку, свою первую любовь, которая длилась до самого восьмого класса. Я совсем даже не узнала его, испугалась: худой, нечесаный, а самое страшное глаза – потухшие, безразличные. Из горла Сергея вырвались несколько хриплых невнятных слов. Потом он закашлялся и закурил папиросу. Я отступила на шаг – такой был противный дым. Сергей цепко всматривался мне в лицо, но, кажется, не узнавал меня. Теперь я все знаю и понимаю, какая это страшная штука – наркомания. Страшно, конечно, видеть такое и по телевизору, но совсем другое – в жизни.

Помню, как Сережка подсунул

в шестом классе в карман моего пальто записку с признанием в любви. А потом больше не подходил и не писал. Не смотрел даже на меня. Подумала уж, что кто-то разыграл злую шутку, но, когда сверила почерк, убедилась – его рука, Сережкина. Я подождала его после школы и позволила проводить домой. Какой он был взрослый, предупредительный! А зимой в седьмом классе мы грелись в подъезде у батареи и впервые поцеловались. И потом еще много раз – он хорошо умеет целоваться. Но в восьмом классе все кончилось, ему интереснее стало в компании курык, чем со мной. Я обиделась. Может быть, и не права была. В.Ч. говорит, что наркотик тот же яд, его нужно отбирать у дураков. Но я сильно тогда на Сергея обиделась, видеть даже его не хотела. И вот теперь мы встретились, и он предложил мне пойти в кино. Я пообещала. Но не пойду. Нет, я не могу себя представить рядом с ним таким. Только Павлик! Нет никого лучше Павлика! Я всегда хочу быть с ним, моим дорогим, родным, умным...

Декабрь

Мы с Ленкой решили узнать, что Павел читает. Поехали в жил-массив "Березинский", где он живет, зашли в библиотеку. Библиотекарю мы представили себя как комсомольских активистов, пришли, мол, со школы, хотим уточнить, записан ли такой-то из числа "трудных" учеников (это Ленка, умница, додумалась на него такое наговорить!).

Павлика в картотеке не оказалось. Там была только его мама. А он, охламон, не записан.

Сегодня в классе подсчитывали, сколько на ком денег. Точнее, кто сколько денег на себе носит. Складывали каждый сам себе стоимость одежды и вещей, с которыми ходят в школу. У меня вышло на 450 рублей, у Ленки больше чем на 500. Но это все цветочки. У Игоря одежда, часы, дипломат и все остальное по методичкам потянуло на тысячу двести. Но выше всех оказались Эльвира и Татьяна, две великосветские дамы, хайлафистки, каждая носит на себе больше чем на две тысячи рублей.

Эльвира с Танькой и здесь поделились. Я ненавижу их, не хочу думать о них. Подсчитать бы моральную ценность обеих — интересно, хватило бы на десятку?

Январь

Воскресенье стало для меня каковой. Потому что я не вижу Павлика. Мне его стало ужасно не хватать.

Я узнала, за какой партией сидит Павел в кабинете русской литературы. Когда туда пришел наш класс, я добровольно вызвалась убирать после уроков. И нацарапала на его парту: "Павлик + Наташа". Совсем сошла с ума, в детстве ударились. Одно утешение: теперь-то он задумается, начнет меня искать. Это я, ребеночек, так подумала. Но на дискотеке в субботу он даже не смотрел в мою сторону. Мне весь вечер пришлось танцевать с этим увальнем Антошкой, хотя он тоже в общем-то неплохой парень.

Уроки этики мне начинают нравиться, я все больше жалею во

время этих уроков, что Павел не в одном со мной классе. Мой ненаглядный, золотой, единственный! Ленка могла бы попросить В.Ч. и тот подстроил бы так, чтобы мы на время стали даже мужем и женой. А так пришлось сегодня побывать замужем за Антошкой. Мы с ним играли две сценки. Во второй я сообщила, что наш сынок заболел, кашляет, и начала уговаривать "мужа" остаться с ним на больничном. Ведь больничные по уходу за ребенком дают не только женщинам, мужчинам тоже. Вот новость! Я и не знала. Только начала я Антона уговаривать, а он договорить не дал. Сказал, что согласен, остается дома. Я подумала, что хороший из Антона получится муж. А В.Ч. у него спросил, почему он согласился без уговоров. Антошка возьми и брякни: "Я врачом буду, сам смогу вылечить своего мальчишку". Мне не смешно, но в классе все попадали от хохота.

А что? Муж-доктор — это неплохо! Интересно, кем собирается стать Павел? Я совершенно ничего не знаю о нем.

Февраль

Этот урок у В.Ч. был особый. Он отпустил с него всех мальчишек. И все сорок пять минут рассказывал нам о последствиях ранних связей с мужчинами. Что ж, довольно впечатляюще. Я думала раньше, что все знают об этом. Оказывается, не все. Я, кстати, многое знала неправильно, ведь моя мамочка так стесняется много говорить об этом. Удивительно, как В.Ч. не стеснялся?

Эльвира с Татьяной вели себя на уроке, как дикарки. Охали,

вздыхали, похохатывали, посмеивались. Такое впечатление, что все им давно известно, но зачем так настойчиво стремиться показать это В.Ч.? Ведь нас всех урок заинтересовал и даже очень. С нами еще никто так откровенно не говорил.

Я специально ходила в кабинет русской литературы, чтобы посмотреть на парту, за которой сидит Павел. Мой автограф цел. Он на мой крик отчаяния никак не откликнулся. А как, собственно, он должен был откликнуться?

Если честно, то, кажется, даже легче было бы, если б чушь написал. А так видно его полное безразличие ко мне. Что делать?

Мы с Ленкой убрали в 35-м кабинете. На учительском столе я случайно увидела дневник Павла. Я очень обрадовалась, это была моя единственная надежда. Да, но дневник, конечно, у него был красивый. Полно "пятерок" и благодарностей за учебу и общественную работу – весь красный, как у партизана. Спасибо случаю, хоть что-то теперь о Павлике знаю. Рада, что он не зануда. А если проанализировать оценки, то к точным наукам, как всякий настоящий мужчина, относится с уважением. Да и замечаний об опозданиях нет – значит, он человек пунктуальный, это тоже хорошо. Казалось, какая мелочь школьный дневник, но как много и он может сказать любящему человеку. Жаль, что было мало времени все рассмотреть, – вошла эта мымра – украинка и начала нудить. Казалось, у нее в жизни вопроса нет важнее, чем выяснить, когда я выучу наизусть отрывок из поэмы.

В.Ч. проводил анкетирование на степень общительности. Потом, подведя итог, был разочарован больше, чем мы сами. А чему, собственно, разочаровываться? Мы действительно не умеем общаться. Кто нас этому учит? Школа? В школе мы разве общаемся? Мы в школе безвольны, и каждая наша минута расписана учителем. На уроках – скука. На переменках списываем математику, зубрим химию. Разве чуть посплетничаем или шутя оскорбим друг друга?

А как мы общаемся после школы? Собираемся где-то в подъездах, опять же посплетничаем, ну, может быть, попоем под гитару что-нибудь для души из Высоцкого, Окуджавы. Можно также покурить. Но лично я решила не бежать за стадом. Думаю, не зря твердят, что никотин – яд. А в общем-то не знаю точно, почему не курю: может, из массы хоть этим выделиться хочу. Если, конечно, откровенно.

В.Ч. говорил о кружках, домах культуры – эти очаги он оценивает с колокольни папиков и считает, что там интересно. Как же, "нашим досугом работали специалисты"! Не понимают, что надоело ходить "по ниточке", что мы уже выросли из этой рубахи.

Мне жаль, что В.Ч. не понимает нас. Но его сочувствие, желание понять и приблизиться заслуживает уважения. А кружки? Та же школа. Те же нотации. Хотя я бы сходила в кружок, если бы там был Павлик.

Кто бы мне посоветовал? Что бы такое сотворить, чтоб он меня заметил?

Ленка уболтала – я решила открыться В.Ч. Мы пошли, посмотрели

рели расписание. Он в 45-м кабинете. И направились туда. Подошли к двери. Ленка хотела заглянуть в замочную скважину, а тут дверь распахнулась и бах ее по голове. Потом из-за двери показались удивленные огромные глаза пионерки. Увидела нас, обернулась и говорит: "Владимир Иванович, здесь какие-то большие девочки в дверь подглядывают. Эту длинную я дверью по голове тряхнула!" Ленка на нее как зашипит: "Кикимора, кто тебя за язык тянул?" Но малая ничего не ответила, только гордо тряхнула головой.

И тут вышел В.Ч. Серьезный, деловой. Я сразу забыла, за чем шла, начала заикаться, намолола всякую чушь. Но Ленка вставила свои пять копеек, и В.Ч. понял мое состояние. И говорит (так просто, вроде мы равны в возрасте): "Девчонки, ну разве такие проблемы решают в коридоре? Заходите в кабинет. Авось что-то сообща и придумаем".

Мы зашли, сели и стали болтать, вроде бы даже совсем не о том, зачем пришли, но как-то незаметно я выложила все, что давно наболело. Он слушал так внимательно и с таким интересом, как доклад Горбачева. А мне как-то дышать легче стало. Потом еще долго сидели и решили, что будет честно просто поздравить мне его с Днем Советской Армии и в открытке подписать – Наташа М. Наконец-то лед, надеюсь, тронется. Тем более что конец февраля – пора бы.

Март

Получила ответ. Не на поздравление, нет. На парте в кабинете

русской литературы появилась запись чернилами: "Я тебя люблю". У меня едва сердце не выскочило от такого. Но тут же и разочарование: "Была любовь и нет любви". Первая фраза написана им, Павликом. Но у второй фразы почерк не его. А чей же? Как выяснить? Впрочем, зачем? Ведь это не так важно.

Но неужели он уже меня полюбил? А не шутит ли?

Сегодня я чуть не потеряла сознание. Ко мне в школе подошел Павел. Спросил: "Вы из того класса, где Алеша Н.?" Я ответила: "Да, из того". Не успела я как следует испугаться, как он сунул мне в руки какую-то тетрадь для Алеши и ушел. Что бы это все значило? Ведь по времени он уже получил мою открытку. Значит, специально подходил? Разведка боем? Или все это случайность?

Уроков я сегодня не делала, так как все время думала о нем. Мой мамик что-то подозревает, но я не хочу рассказывать ей о Павле. Почему? Уверена – не поймет. Да и опыт уже кой-какой есть. В седьмом классе рассказывала о Сергее. Позже, узнав о нем плохое, она начала меня упрекать, что связалась с бандитом. Если уж будет невмоготу, пойду к В.Ч. Уж он что-то придумает.

На дискотеке Павел ни с кем из девочек не танцевал, но и меня не пригласил. Правду говорят, что душа мужчины – сплошные потемки. Если он получил открытку и знает, что я – это я и я не нравлюсь ему, допустим, то почему тогда не танцует с другой? Ничего не понимаю. После дискотеки было такое настроение, хоть в мо-

настырь. Повезло, что встретила В.Ч. Но ему легко рассуждать и предлагать набраться терпения, а где его брать, если Павел через два месяца заканчивает школу и уезжает поступать в военное училище. Расстанемся навсегда. Но все же наш этик снял часть моего эмоционального накала. Чуть полегчало. Он прав — "если не стучать в дверь, тебе не откроют", — поэтому, по его совету, написала еще одну поздравительную открытку, уже с 8 Марта. Пусть задумается. Так как в наших отношениях я выполняю роль мужчины.

Маме я наврала, что собрания не будет. И что классная руководительница заболела. Но мне не пофартило. Она узнала через соседку и о собрании и о двух моих "тройках" за четверть тоже. В субботу пришла в школу. Ну а потом, дома, пользуясь отсутствием папика, устроила мне последний день Помпеи. А в понедельник, как назло, идя с ней, встретила директрису, В.Н. начала с комплиментов, сказала, что знает меня как хорошую девочку. Но маман выдала все, что было сказано вчера. А та даже сняла очки и с таким умным видом спрашивает: "Уж не влюбилась ли ты, милочка?" Ехидна, что ей ответить?

На маман за рукоприкладство я, конечно, очень обиделась. Ведь папа меня в жизни пальцем не тронул. Почему же я с папиком не делюсь секретом, ведь он мне друг? Наверное, потому, что он в любви не разбирается, это видно из нашей семейной жизни. Не представляю реально, чем он может помочь нам с Павликом?

Ну, хватит все усложнять, са-

мой создавать трудности и с такими нервами их преодолевать. Я решила: нужно в конце концов взяться за учебу и совмещать приятное с полезным. Ведь не за го-рами и аттестат! И захочет ли Павел иметь дело с дурой? Он хоть и сам не отличник, но парню знания не так важны, как нам, девчонкам.

Апрель

Всю линейку я стояла и смотрела на него. Не знаю, получил ли он вторую открытку, но тоже временами поглядывал в мою сторону, и, когда наши взгляды встречались, мы делали вид, что внимательно слушаем, что говорит директор школы на линейке. Так мы переглядывались, пока линейка не закончилась. Мне так не хотелось уходить, что я еле поплелась. Оглянулась, а он снова смотрит. Я зашла в класс, урок не слушала (не так-то просто, оказалось, совмещать приятное с полезным), все думала о нем. Теперь я уверена — он меня заметил. Видно, он правду на парте написал. Весь день было у меня хорошее настроение.

Интересно, у Павлика тоже?..

Единственная отрада у меня сейчас — Павлик и мороженое. Конечно, глупо сравнивать Павлика и мороженое, но это единственное, что может утешить меня, успокоить, когда я его не вижу.

Все, конец. Не знаю, как Ленка а я больше о работе корреспондентской не мечтаю. В кино журналистов показывают красиво, это да. Но в жизни не так романтично. С девяти до шести надо сидеть на работе и править ошибки в чьих-то

каракулях. Нет, это не для меня. Лучше уж дворником буду работать. Назло своему мамике. Как уже надоели ее крики: "Будешь плохо учиться – в дворники пойдешь!" Подумаешь, напугала, дворники – тоже люди. Тем более что им квартиры вне очереди дают.

Урок по бюджету – самый классный! В.Ч. рассадил всех нас по парам и объявил мужьями и женами. Сказал, что каждая вновь созданная семья имеет однокомнатную квартиру, старенькую мебель и одного ребенка. Это у меня-то ребенок? Ха-ха! Молодая мамаша, скажи кому – засмеют! Ну и бюджет нам с мужем Антошкой (лучше бы рядом был Павлик) определил 220 рублей. Курам на смех! Начали мы делить, чтобы концы с концами сходились, – ничего не получается. Чтобы обойтись без "семейной драмы", я попросила переписать у Ленки с Игорем, у них сошлось. Но В.Ч. наши расклады при проверке забраковал. Ленка возмутилась вслух: "Где вы видели такой мизерный бюджет?" А Эльвира, вот уж чудище, закричала: "Владимир Иванович, мало! Пару сотен подкиньте, а?" Он, конечно, на словах мог бы и три сотни подкинуть, но В.Ч. прав в том, что жизнь не всегда подкинет и готовиться лучше к трудности, чем к праздности. Действительно, бывают же студенческие семьи с бюджетом, который складывается из двух стипендий. А если даже муж профессиональный рабочий с окладом 185 рублей, она в декретном отпуске – 35 рублей в месяц – в итоге те же 220, не более.

Интересно, какой бюджет у мо-

их папиков? Нужно срочно поинтересоваться!

Ну и посмеялись мы на уроке. У нас с Ленкой еще куда ни шло: забыли выделить деньги на детский садик и откладывать на летний отпуск. А вот Танька с Эдиком – те учудили. Кроме всего прочего, 10 рублей в месяц они выделили на культурный досуг семьи, 10 – на питание ребенку и 30 рублей на еду для собаки Тузика. (Но как быть, если этот Тузик сейчас на 30 р. в месяц съедает. А вдруг у него апетит возрастет?)

Хорошо, что по новому предмету не ставятся оценки, а то у нас с Антошкой было бы по "тройке". А за "тройку" маман со света сживает. Да, семейный бюджет – это вещь серьезная. Интересно, как бы мы с Павликом с этим справились?

Опять по этике анкетирование. Мне было невыносимо стыдно за своих родителей. Вопрос у В.Ч., как всегда, один, но в яблочко: "Во время семейных и других праздников есть на столе в вашей квартире спиртное?"

Пришла домой и напустилась на своего папу так, что ему жарко стало. Ему жарко, а мне его – жалко!

Май

Конец года, как всегда, идет под руку со сплошным сумасшествием. Почти на каждом уроке контрольные работы. Трудно. А тут еще комсорг сдурел. На химии Светлана попросила его передать шпаргалку для меня, так он, представьте, какой идейный, не передал. А на комсомольском собрании еще и речью разразился: "Не списывать! Отвечать каждый за

себя!" Я смотрела на нашего Волody и совсем не сердилась на него, так как представляла на его месте Павлика. Мне кажется, что он поступил бы так же, даже если бы любил — не передал бы мне шпаргалки.

Теперь мы с ним упорно переглядываемся. Но сомневаюсь, что он когда-то решится подойти. Впрочем, главное, что у него нет девочки. Я твердо знаю. Разведка донесла.

В.Ч. предложил испытать последний, наиболее действенный вариант. Я не соглашалась. Считаю, что глупо делать все время ошибки, унижаться и навязываться. Но Ленка, вот уж шустричка, тут как тут со своими неопровержимыми аргументами. Джульетта, говорит, не стеснялась первой обнаружить свои чувства. Хотя и общественное мнение в те годы было жестче, чем теперь. Сравнение с Джульеттой мне понравилось, и я согласилась на последний вариант. Послала Павлу письмо. По сути дела это не письмо. Лишь чистый конверт со своим адресом и сказка, которую сочинил для нас В.Ч., за что я ему премного благодарна. Вот это бесценнейшее творение, которое, будем надеяться, сделает меня счастливой.

СКАЗКА

О скромном Рыцаре, который получил голубиной почтой два серьезных послания от скромной и серьезной Принцессы, но не нашел, как на них ответить. Тогда Принцесса рискнула третьим, самым любимым своим голубем и сообщила Рыцарю о местона-

хождении своего Замка. Рыцарь оказался весьма великодушным и возвратил Принцессе ее любимого голубя, прислав с ним один билет на праздничную корриду. Принцесса не любила ни быков, ни тореадоров. Но не пропадать же билету? И она пошла на корриду. На месте рядом с ней оказался скромный Рыцарь, который никак не мог заговорить первым. И только в решающий момент, когда бой быков заканчивался блистательной победой мужественного тореадора, он, наконец, спросил тихо:

— О, мадонна! Не скажете ли вы мне, в какой кассе покупали билет на эту историческую корриду?

Принцесса, опустив глаза, ответила:

— В той, в которой хотела бы покупать билеты всю свою жизнь.

Июнь

Уже закончились занятия, в десятых классах выпускные экзамены. А в моих отношениях с Павлом все так же неопределенно. Никто не может понять моего состояния. И даже Ленка. Она считает (вот глупая), что у меня к Павлику влюбленность и ничего более. Может, я чего-то не понимаю, но я просто люблю. И очень боюсь потерять эту свою любовь, которая возрастает и пылает во мне с каждым днем больше, несмотря на то, что виновник этой любви даже посмотреть в мою сторону не собирается.

Когда я доставала из почтового ящика конверт с его почерком, у меня тряслись руки и до сих пор трясутся так, что я не могу писать. Павел прислал мне в конверте

билет в кино. Завтра на вечернем сеансе мы встретимся!

Я не могла ночь спать. Мне было страшно. Я шла в кинотеатр, как на каторгу. Пришла пораньше, заняла место. Уже погас в зале свет, а его не было, кресло рядом со мной оставалось свободным. Он опоздал ненамного, пришел сразу после журнала. Даже не поздоровался, невежа, но я ему все прощаю. Зато хоть и в конце сеанса, но все же он не забыл спросить: "Простите, вы где покупали билет на это место?" Я видела, что Павлик заикается и волнуется больше, чем я сама. Собралась с духом и ответила точно по сценарию: "В той кассе, в которой хотела бы покупать билеты всю свою жизнь..."

Этот день, точнее вечер, переломный, исторический в моей жизни. Мы с Павлом до часу ночи гуляли по улицам и переговаривали столько важного для себя. Я поняла, что люблю его еще больше и это чувство у меня на всю жизнь.

Но дома что меня ожидало — это кошмар! Отец встретил молча, а маман расшебеталась до предела. Бить не била, но обозвала меня незаслуженно таким словом, которого я никогда ей не прощу.

Папик тоже хорош. Бесхребетное создание. Все его подчиненные имеют уже телефоны, а он скромничает, не может "пробить". Вот и пусть сопит теперь — был бы телефон, я бы предупредила, чтобы не волновались.

10 КЛАСС

Сентябрь

Лето пролетело быстро и незаметно. Я, поссорившись с пред-

ками, на второй день уехала в деревню и все лето провела у бабушки. Жила как в монастыре, но мне это нравилось. Целыми днями лежала, читала, ждала писем с новосибирским штемпелем. Павел за лето написал мне 18, а я ему 62. Ничего, что втрое больше, ведь у него экзамены.

В школе масса новостей. Не знаю, может, я за лето стала красивой, но Ленка сказала, что наши парни от меня в шоке. Даже Игорь — это тот, который носит на себе на 1200 рублей. Кстати, и Ленка похорошела, какая-то нежная, что ли, стала? Она даже, вот умора, на полном серьезе (чего от нее не дожدهшься) завела парня. Он в деревне, правда, и давно уже не мальчик, ибо уже отслужил в армии. Но это даже хорошо, что живет в деревне. Будем страдать на пару, я Павлику письма на уроке писать, а она своему Ване.

Какая-то я нервная в последнее время стала. Самой противно. С родителями постоянные стычки, недоразумения. Единственное утешение — письма от Павлика и те начинают надоедать. Пишет он мало и скупо. Четыре года ему учиться в своем училище, а дальше неясно, что еще будет, куда его пошлют. А я не хочу, не могу ждать, мучаясь со своими папиками. Хочу жить отдельно, самостоятельно, свободно! В крайнем случае можно выйти замуж (шучу, конечно).

В школе мне больше ничего не нравится, хотя и бывают веселые моменты. Сегодня заболела наша физкультурница и на замену пришел Кашей. Хватал меня, идиот, за ногу. Я ему плюнуть в глаза хотела — не смогла. А Эльвиру он схватил, когда она не могла сама ногу на брусья выбросить, так та

даже зарумянилась от удовольствия. Ой, кто б хватал за ноги-то? Кашей! Он уже, небось, седьмой десяток разменял. А все туда же.

Надо писать ответ Павлу, а что я ему могу сочинить? Об Эльвире, которая опустилась, о сумасшедшем Кашее или о том, что я не могу жить завтрашним днем, тем более, что это завтра может наступить лишь через несколько лет? Мне нужно счастье сегодня, сейчас!

Мы были с Ленкой в библиотеке. Рядом в очереди стоял парень. Симпатичный, спортивный. Мне было интересно, что он читает. Я посмотрела. Одна книжка — детективы Кашина, а вторая — "Гимнастика для мужчин". Я Ленку толкаю, показываю на книжку, и мы вместе как засмеемся!..

Взяли книги, сели. Тут зашли в читальный зал еще два мальчика: один беленький, другой черненький, сели за стол напротив. Но беленький был лучше. Мы решили их посмущать, уставились обе и смотрим на них. Они, наверное, почувствовали, что на них смотрят, и посмотрели на нас. А потом переглянулись и рассмеялись. Ну мы, конечно, тоже. Потом уже все улыбались друг другу, как старые знакомые. Но знакомиться я не хотела, мне это все быстро надоело.

Октябрь

Ленка на уроках строчит письма своему в деревню. И находит же что писать. А я уже не могу. Не лежит душа. Не знаю, что писать, да и зачем.

Завидую я Ленке — она любит! Счастливая.

Ноябрь

Наконец-то мои папики опомнились, прозрели, поняли, что с их единственной и нежно любимой дочерью что-то творится. Но что? Что со мной творится? Как они могли понять, если я сама не могу понять. Впрочем, они действительно, кажется, что-то поняли. Ленка проныра, как всегда, все выведала и все прояснила.

Оказывается, В.Ч. проводил специальное занятие по семейным отношениям для родителей, учил их уму-разуму. Не знаю, как чьим, а моим помогло.

В.Ч. резко активизировался. Вчера всеми старшими классами осуществлена была вылазка в ресторан. И он был с нами. Выслушал внимательно все про Павлика, ничего не сказал, попросил только подготовить к завтрашнему дню письменную работу на тему: "Смогу ли я с Павликом прожить жизнь на необитаемом острове?" Сначала я была уверена, что смогу. Но сейчас не могу себе этого представить. И вообще я уже не рада, что связалась с ним. Тоже выдумал — необитаемый остров. Это только в его теории, а в жизни такого не бывает. Ведь вокруг столько людей. И друзья всегда найдутся. Чушь собачья эти его штучки.

У нас на время новый учитель истории. Пришел мужчина — это хорошо. Молодой — это вдвойне хорошо. К тому же он друг В.Ч., оказывается, они вместе в университете учились. Молоденький историк дал нам задание писать. А сам смотрел весь урок за окно и о

чем-то глубокомысленно размышлял. При этом четыре раза поменял рабочее положение: подпирал кулаком подбородок, потом правую щеку, левую, а на конец обхватил голову руками, будто собирался потягиваться. А мне было скучно. Писать не хотелось. Да и историк, честно говоря, немного заинтересовал.

Смогу или не смогу я прожить с Павликом всю жизнь на необитаемом острове? В одной из стран супругов, которые приходят к разводу, отправляют на полгода в уединение, и они возвращаются помирившись. Но ведь мы с Павлом не ссорились, зачем же мириться.

Мне стыдно, ужасно стыдно перед собой и перед теми записями, которые я делала в девятом классе. Ведь я любила его, до безумия любила – куда же это все делось?

Вычитала у одного древнего философа: "Хотеть – значит мочь. А мочь – значит побеждать". И загорелась желанием написать Павлику длинное, обстоятельное и теплое письмо. Но уже после первых слов приветствия поняла вдруг, что я больше ничего не хочу. Что же делать? Ведь это предательство по отношению к нему. А объясниться рано или поздно все же придется. От этого ты, голубушка, не уйдешь.

Декабрь

Сегодня целый урок я думала о Сережке – своей первой любви. Почему вспомнила? В.Ч., он у нас заменил математику, говорил о наркомании, а я думала о Сергее. В.Ч. рассказывал о диких историях, происходящих в городе. Кто-то

специально забывал в автобусе пачки с папиросами. Их подбирали. Кто-то выбрасывал. Кто-то – нет. А папиросы эти были с сюрпризом. А я думала: может, так вот и Сережка когда-то впервые попробовал, а потом уже не смог остановиться. Я раньше не верила, что первый кайф может оказаться роковым, затягивающим, ведь употребление вина не вызывает желания завтра это обязательно продолжить. Но с наркотиком дела другие. Он включается в обмен веществ. И организм требует, вымогает.

В.Ч. взял за душу. Спрашивал у класса, что будем делать, если у человека сердечный приступ, а смотрел на меня. Я сказала, что вызову "скорую помощь". "А если увидишь человека, который под действием наркотика?" Я не думала, что таким нужно помогать. Ведь считается, что они балдеют. А В.Ч. сказал, что это болезнь и тоже надо вызывать "скорую". Не просто сказал, он убедил, что это болезнь. Но мне от этого не легче. Значит, я виновата, я не вызвала для Сережки "скорую". А ведь могла вызвать, могла побыть рядом и не разрешить ему опускаться в такое болото! Но надо подумать: может, еще есть способ ему помочь как-то?

Мне осточертели уже все эти вздыхатели – издыхатели. Они чем-то напоминают Кашея, хотя и молодые. Леня уроки напролет глазами меня сверлит, делать ему больше нечего. Игорь уговаривает идти к нему вечером слушать музыку – обещает классные записи, а Вовка из параллельного класса совсем очумел – поэму целую обо мне сочинил. Только поэму ли?

Бред собачий какой-то. Набор слов.

Вообще-то приятно, что ты многим в школе нравишься. Но что толку-то, в их чувствах мне нужды нет.

От Павла пришло два длинных письма сразу. Волнуется, заяц, спрашивает, почему я не пишу. Что ответить? Я сама не знаю, чего хочу: то хочу, чтобы он меня любил, то не хочу.

Совсем неожиданно я вошла в контакт с Эльвирой. Ленка заболела. А Эльвира провинилась. Классный руководитель велела ей в наказание остаться мыть полы. Швабры в кабинете не было, надо ждать, пока освободится у соседей. Эльвира спросила, хочу ли посмотреть один интересный журнал? Я заинтересовалась. Почему бы и не посмотреть, если интересный? Открыла – а там!.. Нет, это не порнография, которую штампуют обычно кустари. Это французский журнал. Вначале было интересно, чем же это все у них закончится, но когда дошло до секса, в горле появилось чувство тошноты. Я закрыла журнал и протянула Эльвире, которая за мной все время наблюдала. Она ехидно засмеялась и сказала: "Да ты у нас еще совсем маленькая, оказывается?" Я опешила. "Да пошла ты!" – говорю. Она: "Да чего ты, глупенькая, сердисься. Думаешь, я давно поумнела. Нет, это произошло не так уж давно. Тоже такой же дурочкой, как и ты, была. А теперь скажу откровенно: секс – это класс!"

Она мне потом такие вещи рассказывала, что у меня даже как вроде бы ноги подкашивались. В

общем-то, она оказалась неплохой девчонкой. По крайней мере со мной она не ломалась. И говорил откровенно.

Январь

Самое трудное – я не знаю, что делать: казнить себя или спокойно воспринять все то, что произошло. Мы встречали Новый год у Эльвиры. Папики долго скрежетали зубами, но все же отпустили меня на всю ночь. Разложение началось еще часа за три до боя курантов. Были выпиты первые бутылки вина, выключен большой свет и включен "Пинк Флойд". Кто-то танцевал, а другие разбрелись по комнатам, не знаю, что они делали. Мне было скучно и обидно, что я одна. Наблюдала с какой-то завистью за силуэтами танцующих и думала о Павлике. Пыталась представить его с собой рядом, здесь, в этой квартире, но не получалось – не вписывался Павел в полумрак, подслащенный вином и "Пинк Флойдом". Тогда я вспомнила Сережку – он тоже не вписывался.

А потом пришел Валера, и я больше ни о чем не думала. Он покорила меня с первой минуты, с первого взгляда, как только вырос на пороге. Высокий, в заграничной дубленке и большой шапке. Он весь был самоуверенность. Суровое лицо, плотно сдвинутые брови и добродушная улыбка на устах. Держал он себя с достоинством и тактом, обходился без пустословия, в танце не дрожал рядом со мной, как Вовик или даже Игорь. Сразу привлек к себе, словно тисками и вместе с тем нежно.

Мы пили еще вино, а потом ушли с Валерой в отдельную ком-

нату, поговорить. Ну а дальше, как в тумане. Все поплыло кругом. Самое обидное, я, кажется, даже не сопротивлялась.

Произошло невероятное! Я не могу понять, как это могло произойти? Я совсем не знала себя, не думала, что совсем слабая и беззащитная. Не перед грубостью, но — перед силой обаятельного мужчины. Как это гадко, противно. У меня такое чувство, вроде бы его пот прилип к моему телу. Вроде бы на мне остались следы его рук. Но это теперь, а что произошло тогда? Что случилось? Ведь, если честно, сначала было даже очень приятно. Конечно, пока э т о не случилось.

Что же теперь будет? Валерий уехал на две недели в Ленинград. Он просил после позвонить ему и сказал номер, я запомнила. Все цифры почти одинаковые. Но ни видеть, ни слышать его гадкого голоса я не хочу.

Мне вдруг стало очень страшно. Что же я наделала, дура? Как я могла позволить?... Ведь я и представить не могу что-то серьезное с этим Валерием. Наверняка таких, как я, у него сотни. Да и какой уважающий себя мужчина станет воспринимать серьезно девчонку, которая в первый вечер знакомства готова продлить его на всю ночь. И при этом даже не делает попытки сопротивляться! Нет, со мной произошел глупейший, дурнейший, самый идиотский поступок в жизни. Как я несчастна! Я даже не могу открыто посмотреть в глаза своей подруге Ленке, потому что предала ее с Эльвирой, которую мы вместе когда-то ненавидели. Не смотрю в глаза В.А. и В.Ч., особенно боюсь родителей:

как бы они чего не заметили, не узнали.

Только теперь с ужасом вспоминаю лекции про венерические заболевания и каждую минуту прислушиваюсь сама к себе: нет ли у меня чего-нибудь не такого, как всегда. А если беременность? О боже, что тогда делать? Я уже сейчас ненавижу этого ребенка и очень надеюсь, что он не должен (по всем неписаным законам совести) родиться. Я не нахожу для себя в доме места.

Хочу взяться серьезно за уроки и третью четверть закончить без единой тройки. Но как трудно отвлечься от мыслей. Стараюсь помогать родителям по дому. Хожу в универсам за продуктами. Но мысль, как оса возле сладкого, вертится только вокруг происшедшего. Я долго очень злилась на Эльвиру. Но теперь успокоилась, как и раньше, не замечаю ее. В конце концов зачем перекладывать с больной головы на здоровую? В чем ее вина? Разве это она отдавала меня в объятия Валерия? Тем более, если честно, то меня интересовали именно такие отношения с мужчиной. Ну что же, теперь уже не буду интересоваться.

И все же Валерий должен относиться ко мне серьезно и даже жениться на мне. Сколько бы их у него ни было, разных Эльвир и Танек, но ведь он у меня первый. Ведь он знает об этом и должен как-то выделить меня из толпы его обожательниц?

Но хочу ли я сама этого? Ведь такой никогда не будет верным мужем.

Тебе всего шестнадцать, а ты уже влюбилась.

Тебе всего шестнадцать, а с детства ты уже простилась.

Я долго думала над тем, люблю ли Валерия? Нет, не люблю! Он мне противен, но я должна его полюбить, так как он должен на мне жениться.

Валерий уже наверняка приехал из Ленинграда. Только вот загвоздка, я не могу позвонить, не хватает силы воли. Как только подхожу к телефонной будке, меня переполняет желание поскорее убежать от нее, и я бегу. Бегу сама от себя. Я боюсь, боюсь так, что у меня даже ноги подкашиваются и бешено колотится сердце. Вот уже третий день я не могу набраться храбрости и позвонить.

Какое-то странное, особое у меня сейчас состояние. Я хожу словно опьяненная морозным воздухом, голубым до боли небом, мне хочется закрыть глаза, подставив лицо солнцу и ветру, и идти далеко-далеко к новым людям, новой жизни.

Или иногда хочется бегать, прыгать, кричать, смеяться, стать опять маленькой беззаботной девочкой, которая твердо уверена, что все люди на свете хорошие и добрые.

Что это со мной?

А иногда, особенно по вечерам, мне бывает так тоскливо, что даже хочется плакать, сама не знаю почему, раньше слезы мне помогали, сейчас нет.

Февраль

Я наконец позвонила ему. О, какое это было унижение! Он, обрадовавшись звонку, тут же спросил, дома ли мои родители. Я поначалу не поняла, зачем ему это. А потом, когда он сообщил, что и у

него и Эльвиры сейчас "не та обстановка, чтобы встретиться", до меня дошло. Он говорит не со мной. Думает не обо мне, только о моем теле.

Мне очень плохо. Я плачу и от слез не вижу, что пишу...

Я звонила по телефону доверия, нам В.Ч. еще в десятом классе рассказывал о таком, и в тетради по этике записан номер. Аппарат сработал, "двушка" провалилась, голос в трубке я услышала тихий и приятный, женский. Но я не сразу заговорила, осмотрелась, возле телефонной будки никого не было. Осмотрелась и быстренько, пока никто не подошел, задала вопрос: "Могу ли я быть счастлива в семье, если выйду замуж "не девочкой"?"

Голос доктора оказался не таким приятным, как вначале. Она занудно начала выпрашивать: уж я "не девочка" или только предполагаю не стать? Вот занудина: ну кто же сознательно предполагает стать "не девочкой"? Разве она не понимает, что такое происходит непредвиденно, по дурости! Я, конечно, могла ей все объяснить, но рядом появились люди, а стекла в будке почти все выбиты, и я не могла говорить. Повторила лишь то, что хочу получить ответ на конкретно поставленный свой вопрос. Но ответа так и не получила. Та женщина меня попросила не шутить и положила трубку.

"Телефону доверия" я больше не доверяю.

Мои распрекрасные школьные учителя в один голос утверждают, что нельзя бездумно проживать жизнь. А как ее прожить, чтобы с пользой? Почему нас этому не учат. А только мучат: формулами.

уравнениями, соотношениями...

Я едва не погибла! В школе работала комиссия, и гинеколог в ней тоже. Как хорошо, что я вовремя узнала об этом. Может, я так бы не испугалась, если бы не случай в позапрошлом году, когда врач рассказала директору школы (я случайно подслушала) о "не девочках". Какая дикость, что не для всех врачей тайна есть тайна.

Я бежала от школы сначала куда глаза глядят. А потом пошла в поликлинику к терапевту. Та даже не стала мерить температуру, только глянула на меня и сразу написала справку (впрочем, я действительно была в полуобморочном состоянии и выглядела как больная).

А потом я неожиданно встретила Сережку, свою первую любовь. Он покупал в киоске "Беломорканал", я обратила внимание на название, потому что Павел такие никогда не курил, он предпочитал болгарские сигареты. Мы с Сережкой вместе ехали в троллейбусе. Узнав, что я на справке, предложил утром заходить к нему в гости. Сказал, что будет интересная компания. Я, разумеется, отказалась. Хватит с меня интересной компании и на Новый год.

Сижу вот сейчас и думаю: пойду завтра или не пойду. Если так подумать, терять все равно уже нечего.

Утром я решила, что пойду. Но было еще рано очень, и я решила посоветоваться с В.Ч., точнее, со своей тетрадью по этике за 9-й класс. Перечитала, вспомнила те занятия, которые были отдельно для девочек, и еще одно — по венерическим заболеваниям. И поняла, что терять еще есть что, по-

терять можно больше, чем до этого потеряно. Но было очень плохо на душе, невыносимо одной сидеть дома, и я пошла. Твердо решив для себя вино не пить и ни на какие уговоры не поддаваться. Решила взять на всякий случай немного денег. Рылась в столе и наткнулась на фотографию Павлика. Здесь он в курсантской военной форме. Я посмотрела лишь на секунду в его глаза, и мне стало так больно, что я побыстрее задвинула назад ящик, а в нем его фотографию с таким пронизывающим насквозь взглядом. Почему я раньше не замечала, что он так пристально на меня смотрит? Еще больше захотелось куда-то сбежать! И я быстро выскочила на улицу.

Когда я пришла, у Сережки все уже были в сборе. Двое парней откинулись, полускрыв глаза, в креслах. Одна полусонная девица что-то сочиняла на кухне. Я сразу пожалела, что пришла. Вокруг ни одного лица, которое хотелось бы взять "на необитаемый остров". Видя, что мне плохо, Серж, как все его там величали, протянул на ладони четыре кружочка. "Это реланиум, выпьешь двойную дозу, и тебе сразу станет хорошо". Я сказала, что у меня нет денег платить за такие дорогие таблетки. Но ему для друзей, оказывается, ничего не жалко. Я вспомнила выражение наркоманов, которое В.Ч. произносил на уроке: "поставить на счетчик".

Все происходило по предсказанному им сценарию: доброжелательная и бескорыстная забота о близком, долг за выданные авансом наркотики будет взиматься потом, когда организму станет невозможно без них обойтись. Но

дураков нет, все перевелись. Меня не проведешь. Я вышла вроде бы в туалет, а потом тихонько шмыгнула за дверь. И ощутила свою маленькую победу.

Не знаю, как сама себе объяснить, но на следующий день меня потянуло в ту компанию снова. Состав был тот же. Прибавился один бородатый мужик лет тридцати. Я помогла готовить на кухне кофе девице – Ляле, и мы потихоньку познакомились. Она давно в их компании. Я прямо спросила, как не страшно ей подолгу быть среди мужчин? Особенно среди таких страшненьких, как этот бородатый. Девушка глухо рассмеялась, причем лицо ее покраснело. "Этот, – сказала она о бородатом, – давно уже ни на что не способен. Остальным хоть и по семнадцати, но от них тоже скоро останется горсть пепла. – И добавила: – Скоро мужчины вообще вымрут, как мамонты". Я не сразу поняла, о какой способности она говорит и почему они должны вымереть. Позже, поняв, – ужаснулась. А ведь В.Ч. ничего нам не говорил об этом.

Давала себе зарок, клялась, но все равно утром ноги понесли к Сержу. Бородатый курил папиросы, я обратила внимание на какой-то непривычный запах дыма. Мне Серж предлагал ноксерон, но и сегодня я не решилась приобрести к "колесам", как они между собой называют таблетки.

Кофе на этот раз я готовила сама. Девушка лежала с закрытыми глазами на диване и, тяжело дыша, бредила что-то про белых червей, которые будто бы по ней ползают. Платье открывало все, что по идее

должно прикрывать, но на это никто не обратил внимания. Каждый был занят своим "кайфом".

С парнями общаться мне удивительно легко. Нет никакой фальши. Странно, но я без всякого стеснения рассказала, по какой причине сбежала со школы. "Привильно сделала, – сказал бородатый, – держись, девка, поближе к народу, мы не обидим".

Март

Едва высидела день дома. Не знала, куда себя деть от безделья. Учить уроки – дико. Пыталась письмо написать Павлику, во всем признаться и сказать, что начинаю новую жизнь, – порвала. Взялась за журнал, молодежный. Неинтересно пишут в нем, как будто для марсиан. Это они могут прочитать и поверить, что у нас, шестнадцатилетних, все так прекрасно.

И никто даже не придет со школы проведать. "Заболела" – так будто и не стало меня. Впрочем, никого не хочу видеть. А больше всех Ленку. Нет – В.Ч. Так как уж он-то должен был сначала рассказать о том, что произойдет со мной, и о том, что такое же может еще случиться с кем-то. А то сразу о венерических заболеваниях. И никакого рецепта от случая со мной.

Последний день я на справке. Завтра в школу. Решила еще раз побывать у Сержа (как я так быстро привыкла к его новому имени?). Он был один. На вопрос о друзьях сказал, что они поехали за товаром, как потом выяснилось, соврал. Но совсем не для того, чтобы остаться со мной вдвоем: его бывшие чувства ко мне

как и мои к нему, давным-давно уже окончательно угасли. Серж только проводил меня в комнату, усадил в кресло, в котором в прошлые дни кайфовал бородатый, и выложил пачку западных журналов. Спросил еще, правда: "Димедрол будешь?" Я отказалась, и он ушел в ванную.

Журналы были классные. Я не заметила, как прошли два часа, но из ванны ни звука. Я страшно перепугалась и побежала туда. Заглянула в щелочку. Вижу, лежит Серж в воде, дышит. Значит, живой. Но что за интерес столько париться? Впрочем, я тут же вспомнила, что рассказывал об этом на уроке В.Ч. Когда нет достаточной дозы, начинается "ломка". Такое легче переносить в горячей ванне. Но ломка — ведь это что-то страшное. Я вспомнила, что читала об одном признании наркомана: в пик ломки, если бы ему в обмен за укол предложили убить самых дорогих людей, он бы не задумывался, на все готов — лишь бы получить наркотик. Мне стало страшно. Я уже захотела бежать из квартиры Сержа, но тут появился он сам. Вялый, с опущенной головой, ну совсем никак не похожий на убийцу. Серж попросил приготовить кофе, я это сделала. Он, прежде чем пить, положил под язык таблетки. Мне уже не предлагал, наверное, у него последние. Рассказывал, что через пять дней приедут родители из отпуска, жаловался, что опять в подвал, начнутся черные дни. А потом вдруг повеселел. Вспомнил наш седьмой класс, сделал мне дикий комплимент и схватил неожиданно в объятия. На его прямолинейность я попыталась слабо отмахнуться.

Сижу вот сейчас за столом, злюсь на себя страшно, головой об стену готова биться, но объяснить свое слабование не могу. Может, действительно вспомнились мне чувства той семиклассницы, которой я когда-то была?

Позже, правда, когда я думала о несчастных детях наркоманов, о которых тоже не забыл рассказать В.Ч., мне стало более чем страшно. По груди поползло ощущение такого отчаяния и ненависти к самой себе, что впору мне было выброситься в тот момент из окна. Забеременеть в моем положении — это страшно, но не дай бог от наркомана. Я помню, как у такого огромного и сильного человека, как В.Ч., дрожал голос, как ему трудно было говорить на уроке. А я не могла представить, как это только что родившаяся крошка начинает кричать, как ее мучают судороги до того времени, пока не введут шприцем капельку наркотика. Бр-р! Жутко!

Но бог, видно, есть. Серж только потискал меня и все. Больше он не смог. Очень злился. Бегал по комнате, как разъяренный зверь, а я только и думала, как бы поскорее улизнуть. Но он сам отпустил меня. В коридоре, когда я одевалась, спросил, помню ли я хорошо Лялю, ту девицу, с которой готовила на кухне кофе. Я сказала, что хорошо помню. А он сообщил, что ночью Ляля выбросилась из квартиры на тринадцатом этаже и разбилась.

Я еле доплелась домой, до прихода родителей пролежала неподвижно на кровати. А потом начала делать вид, как будто ничего не случилось. Только подумала вот: надо куда еще подальше эту тетрадь, в которой пишу, а то ну

как найдет маман, будет хуже, чем в последний день Помпеи.

Май

Я, кажется, потихоньку начала оживать. До этого все вокруг, особенно в школе, было чужим и немым. Но вот же какой дотошный наш учитель этики, заметил что-то, четыре часа мы проговорили с ним в пустом классе. Я, конечно, все ему не рассказывала. О Валере ни слова. Да и о том, как Серж на мне себя проверял, — тоже. Как можно о таком-то? Но вот о днях, которые провела в компании наркоманов, не скрывала. В.Ч. понял меня, не осуждал, даже рад был тому, что я оказалась непоколебимой. Правда, потом В.Ч. ругал меня, за душу брал: что сделала, чтобы другие не кололись и "колеса" не глотали? "А почему я должна была что-то сделать?" — ответила. "А если бы Серж собрался выпить яду? Тоже молчала бы?" Загнал в угол В.Ч. Но что я могла тогда сделать. В компании было все вроде пристойно, да и девиз бородатого не мог даже насторожить — мир и спокойствие. Это же не сексуальная компания или та, что хулиганит, стекла бьет, над людьми издевается. Кто же мог предположить, что этой Ляле вздумается выброситься из окна?

Вчера ко мне зашел Серж. Я не хотела ни видеть, ни говорить с ним. Но в его пустяковой просьбе отказать не могла. Он попросился с родителями, собирался переходить в общежитие. Просил, чтобы у меня постояла его сумка с одеждой. Спрятала я эту сумку в кладовке, а вечером, когда дома уже были родители, вдруг пришла

милиция. Какой это был кошмар! Какое унижение, позор! Они делали у нас обыск и нашли сумку. Не с одеждой (Серж меня нагло обманул), с наркотиками. Те, которые делали обыск, оставили мне повестку к следователю и уехали.

Ночь я почти не спала. Много передумала. Всею нашла объяснение. Кроме поступка В.Ч. Это он, конечно, сообщил в милицию. Зачем? Разве для того я ему рассказывала о Серже? Теперь я знаю истинную цену учителю этики. Предательство, с какой стороны ни смотри, отвратительно и непростимо. Я ненавижу В.Ч. Считала его другим, а он такой же, как все!

Шла в школу, и ноги у меня подкашивались. Была уверена, что там все и все уже знают. Оказалось: никто и ничего. Кроме В.Ч. Он уже дважды подходил. Ну, просто покоя не дает! Хотя злость на него у меня стала меньше. Ведь дураку ясно — это его забота, чтобы в школе никто ничего не узнал.

Мои папики о соседях плохо думали, напрасно с ними враждовали. Те приходили к нам еще сочувствовали, нет сомнений, что никому о том, что видели, рассказывать не станут. А милиция приезжала, так что с того? Кстати, парни в милиции есть плохие. Этот следователь, который меня допрашивал, ничего: молодой, вежливый такой, слушал уважительно, обходился без глупых вопросов и недоверий. Хотя меня и не оправдывал, не скрывал, что придется отвечать по закону. Это я и без него знала — В.Ч. рассказывал когда-то о девушке, которая принимала у своего "друга" товар, хранила его, якобы не зная

о содержании пакетов, и получила за это два года. Условно, правда.

В.Ч. по-прежнему не дает мне в школе проходу, хотя его об этом никто и не просит. А сегодня приходил к нам в класс делать анкетирование. Вопросов много, но вот самый, как оказалось, трудный: кого я возьму, допустим, в горный поход? По условию, можно трех одноклассников, одного родственника и одного учителя. Долго я перебирала всех в памяти, но вписать могла лишь одного человека – учителя В.А. Понимаю, В.Ч. тут же донесет все историку, ну и пусть, я не боюсь, я написала правду! То, что думаю.

Хотя этому в школе меня никто и не учил. Особенно на сочинении по литературе. Выбираешь свободную тему, но свободы в изложении – никакой!

Наши девочки уговорили В.А. погадать ему. Но это было не гаданье, а что-то похожее на тест. У

В.А. спросили, замечает ли он красивых девушек. Он покраснел и замешкался, но сказал правду, за что я учителей больше всего ценю: да, замечает. Мог бы первым сказать, что девушка ему нравится? Ответ такой же. В конечном итоге у наших гадалок вышло, что В.А. добрый человек и справедливый, имеет легкоранимый характер.

Мы сидим вдвоем с Ленкой, но взаимопонимания и полной откровенности, как когда-то, давно, нет. Она, прикрываясь от меня локтем, на уроках пишет своему Ваньке-встаньке длинные письма, а я делаю вид, что слушаю наставления учителей, но думаю о чем-то своем. Мама считает, что самое главное в жизни – это поступить и закончить хороший институт, а личную жизнь она считает второстепенным понятием. Она говорит, что замуж я успею выйти и в 30 лет, а вот лично я не понимаю тех людей, кому уже за тридцать и они пишут рекламные брачные объявления...

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО СВАДЬБЫ

Мы с Наташей сидим на скамейке в парке имени Чкалова. Говорим откровенно, без недомолвок. И я ловлю себя на мысли: вот так бы надо было раньше, еще в школе, – многие страницы дневника Наташи были бы наверняка другими.

Через две недели у Наташи свадьба. Он строитель, строит дома. – Очень любит меня, – тихо говорит девушка. – Он такой: обсади его хоть звездами киноэкрана – не глянет ни на кого. Верю, что таким же будет и через десять, двадцать, сто лет!

Наташа, вспоминая его, улыбается и от этого будто становится красивее.

– Как познакомились, спрашиваете? Почти как в кино. Была летняя погода, и всю ночь мне с родителями довелось коротать в аэропорту. На одной из скамеек заметила папку. Раскрыла – чертежи. Не верю в биополя и предчувствия, но вот в ту же минуту

почувствовала, что должно произойти что-то хорошее. Понесла папку в справочное, объявили по селектору. И через несколько минут прибежал Он. Запахавшийся, взволнованный. Искренний такой и чистый – весь на ладони.

Я слушал Наташу с тяжелым чувством, зная, что ее беспокоит и будет, возможно, преследовать еще долгие годы. Это я, в большей степени, чем другие, виноват в том, что не сберег свою ученицу, не сумел привить ей иммунитет против двадцатидвухлетних Валер, умеющих "покорять" девушек с первых минут, с первого взгляда. Валер, использующих при этом свой высокий рост, заграничную дубленку и большую шапку, а больше всего – ложь. Как мог я, как вышло так, что я не заинтересовался всерьез жизнью Эльвиры, не побывал у нее дома, не познакомился с родителями? Да и с новогодней ночью вышло неправильно. Кто это сказал, что Новый год – семейный праздник и обязательно нужно встречать его в кругу своей семьи? Тысячи людей в эту ночь на посту: сотрудники милиции, хлебопеки, машинисты поездов. На посту должны быть и учителя. Их место рядом со своими учениками.

Девушка смотрит на меня пристально, и ее взгляд будто проникает вовнутрь, она угадывает мои мысли.

– Да не переживайте вы так. Виновата ведь во всем я сама. К тому же вы здорово помогли мне, когда я в компанию Сержа попала. Поверьте, мне тогда было очень трудно! Велико искушение попробовать таблетки и уйти в другой мир, беззаботный и пустой, как пропасть. Но вы были рядом, я слышала ваш голос, перед глазами стоял вопрос, записанный на доске: какие причины могут побудить и оправдать употребление наркотиков? Этот вопрос для нашего класса оказался самым трудным, помните? Ленка тогда еще вас спросила, а знаете ли такие причины вы сами? Вы были так искренни тогда: развели руками и сказали, что причин таких не знаете. Одним словом, – неожиданно закругляясь, подвела итог Наташа, – я говорю вам честно и без комплиментов: вы помогли мне не стать наркоманкой. Уже поэтому я могу считать вас близким и на всю жизнь дорогим человеком. Никогда не забуду. Ничего.

Я заметил набежавшую на лицо девушки тень.

– Сейчас будто бы все хорошо, – повторил я ее слова. – А завтра как? Ты сомневаешься в своем семейном будущем?

– Да. Очень. Вчера это у нас произошло. Теперь уже он все знает. Он сразу не мог и не хотел говорить со мной на эту тему. А потом решил... ничего не менять. Кажется, он понял меня.

– Понять – значит простить.

Наташа наконец подняла глаза, и я увидел, что они полны слез.

– Да. – сказала она сдавленно. – Но простить не значит забыть...

Дневник доставил в редакцию
писатель Владимир ЧЕРЕДНИЧЕНКО

СТИХОТВОРЕНИЕ ИЗ КОНВЕРТА

Маргарита БЕРЕЗОВАЯ,
14 лет
г. Дамбул

*Мне так хотелось петь. Зачем?
И скрыть от всех, что я одна.
Быть может, просто времена
Сейчас жестоко мстят нам всем.*

*Мне так хотелось рвать. Но что?
Те пути, что меня связали?
Они ведь правды всей не знали,
А может, просто не сказали?*

*Мне так хотелось жить. Но как?
Ведь в этом мире – царство силы,
Ну а ее так мало было.
Размером с крик...*

Совсем пустяк...

*Опять звенят колокола.
Их звон в душе моей болит.
А жизнь была и не была
В нелегком перечне обид.
Пробились сумерки едва,
Но мне теперь не сняты сны.
Опала ранняя листва,
Не осознав приход весны.
Среди несказанной тоски
И беспричинной суеты
Мне входят в душу две строки,
И непонятны, и просты.*

Олеся ВОРОНЦОВА, 14 лет
г. Рязань

*Я бросаюсь из крайности
в крайность,
То я – там, то я – здесь, то – нигде.
Все без пользы. Такая усталость –
Надоело писать по воде.
Изоощрения поэта напрасны.
Строчка так, строчка сляк, ну а мне
Думать хочется лишь о прекрасном,
Как об этой зеленой весне.
Утопают в вопросах ответы,
И концы у дорог не видны.*

*Как же здорово, что – не поэт ты,
Потому что они – не верны.*

*Катятся скучные круглые дни –
Вот и июнь уж стоит на пороге.
Передо мной три кривые дороги,
А позади – лишь немые огни.
Синие слезы на белом холсте
Смазаны в тонкую длинную краску.
Лица рисуют –
в фальшивой гримаске,
Смехом – в начале,
слезами – в конце.
А на глазах, что устали одни,
Свет непонятный,
но больно уж строгий.
Катятся скучные круглые дни –
Вот и июнь уж стоит на пороге.*

Юля АНДРЕЕВА, 14 лет
г. Уфа

ДЕРЕВНЯ

*Машет даль платочком голубым,
Что-то шепчет вслед мне зимний вечер.
Тощий вьется над избушкой дым.
В ней тепло зимой от русской печи.*

*В ней тепло в суровую метель,
Только знай подбрасывай дровишки.
У окна задумчивая ель
В серый снег роняет слезы-шишки.*

*Спит хозяйский кот, коза, петух,
И теплу они безмерно рады.
Месяц, как заботливый пастух,
Каждый вечер звезд выводит стадо.*

* * *

*Затрепанная записная книжка
Хранит мои мечты, воспоминанья.
Тебе я доверяю, может, слишком,
Мою любовь, душевные раскаянья.*

*Мой верный друг, помощник и товарищ,
Ты знаешь хорошо мою натуру.
И все секреты, что ты вновь узнаешь,
Храни.
Пока не сдам в мукулатуру.*

Светлана БОЛИХИНА, 15 лет
Смоленская область

* * *

*Король печальной осени,
Король моей тоски,
Ну что ж, раз счастье бросило, –
Не царской я судьбы.*

*Король печальной осени,
Ты выбрал не меня –*

*Ведь я темноволосая,
А русая она.*

*Король надежды гаснущей,
Ну что же ты манишь?
Ни горем и ни радостью
Меня не наградишь.*

*Тебе, король неправящий,
Меня не целовать.
Моей душе страдающей
Царя не выбирать...*

**Мargarита
МАЯУСКАЙТЕ**, 14 лет
г. Тяльшай,
Литовская ССР

* * *

*Поздним зимним вечером
Тихо и темно.
Нам с тобой – не весело,
А просто хорошо.*

*И в немом молчании
Зимней тишины
Будто бы нечаянно
Мы с тобой одни.*

*Посмотри на небо,
Загляни в глаза –
В них ведь тоже светится
Иногда звезда.*

*Так свежо и чисто
На душе зимой,
И совсем не хочется
Нам идти домой.*

*И в немом молчании
Зимней тишины
Слышатся негромкие,
Легкие шаги.*

Александр ЮГОВ, 13 лет
г. Пермь

Стихи – ради спасенья,
Стихи – ради покоя души.
Стихи...
Пусть будут не стихи,
Но отпечаток сердца
Останется на бумаге.
Без души –
Как птица без крыльев.
Пиши,
Все, как ты видишь, –
Пиши.

Поздно. Дождливый вечер,
Ты опять к нам ворвался во двор!
Распустив свои старые сплетни,
Не затер за собой следы.
Осень. Дождливая осень.
Снова пришли холода.
Снова чего-то ждешь –
Скорей бы пришла зима,
Закрыла все белым светом,
Светом любви и добра!

Саша КЛЕМЕШОВ, 15 лет
Москва

Пылая яростным пожаром,
Зрачки оконные слепя,
Прошел рассвет по тротуарам,
Прошел и разбудил тебя.
Над горизонтом танцплощадкой
Взметнулось солнышко, и вот
Неугомонно, не украдкой,
Тебе навстречу день идет.
Ты поднимаешься. С балкона

Видна Москва – иль не Москва.
Сквозь небоскрежный

щур оконный,
Как крыша, неба синева.
А снизу песен, очень славных,
Несутся бойкие слова.
И там же, так, как ты недавно,
Спит мягкотелая листва.
...Но все проснулось.

Сон не вечен.
Его ты прогоняешь прочь!
И через год лишь будет вечер,
Лишь через век настанет ночь!

Лена РАСКИНА, 14 лет
г. Николаев

А за окном,
открытым в даль седую,
Под светом загоревшейся звезды
Спокойный тополь
с ручейком колдуют,
И шепчут листья:
"Не было б беды..."

Сияньем робкой
звездочки небесной
Залит весь стол, и книги, и стихи,
А дальше распростерлась
неизвестность,
И к ней одной не пристают грехи.

Неведомое манит чистотой,
Но стоит близко к цели подойти,
Как все померкнет
быстро пред тобою, –
Назад, назад, скорей назад уйти!

И темной ночью будет все,
как прежде:
Залита лунным серебром тетрадь,
И чей-то голос с ноткою мятежной
Неведомое будет диктовать.

УЧЕНИЕ ХРИСТА, ИЗЛОЖЕННОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В прошлом году у меня образовалась маленькая школа из крестьянских детей от десяти до тринадцати лет. Желая передать им учение Христа так, чтобы оно было понятно им и имело бы влияние на их жизнь, я рассказал им своими словами те места из четырех Евангелий, которые казались мне самыми понятными, доступными детям и, вместе с тем, самыми нужными для нравственного руководства в жизни.

Чем дальше я занимался этим, тем яснее мне становилось — и из пересказов детей, и из вопросов их — все то, что легче воспринималось ими и что более привлекало их.

Руководствуясь этим, я и составил эту книжечку. Думаю, что чтение ее по главам, сопровождаемое вызываемыми этим чтением объяснениями о необходимости приложения в жизни вечных истин этого учения, не может не быть благотворно для детей, по словам Христа, особенно восприимчивых к учению о Царстве Божием.

12 июня 1908 г.

Лев ТОЛСТОЙ

1

Иисус Христос Своим учением и жизнью открыл людям то, что дух Божий живет в каждом человеке.

По учению Иисуса Христа, все бедствия людей от того, что они жизнь свою полагают в теле своем, а не в духе Божьем. От этого они враждуют друг с другом, от этого мучаются душой, от этого боится смерти.

Дух Божий — это любовь. И

любовь живет в душе каждого человека.

Полагай люди жизнь свою в духе Божьем — в любви, и не будет ни вражды, ни душевных мучений, ни страха смерти.

Все люди желают себе добра. Учение Христа открывает людям то, что добро это дано им любовью и что все люди могут иметь это благо. От этого и учение Христа называется евангелием.

Ев — значит благое, ангелион — значит весть, — благая весть.

Иисус родился 1908 лет тому назад от Марии, жены Иосифа. До 30 лет Иисус жил в городе Назарете с матерью, отцом и братьями, и когда возрос, помогал отцу в его плотничной работе.

Когда Иисусу было уже 30 лет, Он услышал, что народ ходит слу-

тогда, когда люди перестанут делать неправду.

Когда простые люди спрашивали Иоанна: что мне делать? — он говорил, что тому, у кого две одежды, надо одну отдавать нищему; так же тому, у кого есть пища, делиться с тем, у кого ее нет. Богатым же людям Иоанн говорил, чтобы они не обирали народ. Сол-



шать проповеди святого пустычника. Пустытника этого звали Иоанн. И Иисус вместе с народом пошел в пустыню, чтобы послушать проповедь Иоанна. Иоанн говорил, что пришло время царства Божия, такое время, когда все люди будут понимать, что они все равны, что нет ни высшего, ни низшего, и что все должны жить в любви и согласии друг с другом.

Он говорил, что время это близко, но наступит совсем только

датам говорил, чтобы они не разбойничали, были довольны тем, что получают, и не сквернословили. Фарисеям и саддукеям, законникам говорил, чтобы они переменили свою жизнь и покались. — Не думайте, говорил он им, что вы особенные люди. Перемените свою жизнь и перемените так, чтобы по делам вашим видно было, что вы переменились. А если не переменитесь, то не миновать вам того, что бывает с плодовым деревом, когда оно не при-



Иллюстрации из книги "История Библии". XVIII век.

носит плода. Если дерево не приносит плода, его срубают на дрова; то же будет и с вами, если не будете делать добрых дел. Если не перемените своей жизни, все пропадете.

Всех людей Иоанн уговаривал быть милосердными, справедливыми, кроткими. И тех, кто обещался исправить свою жизнь, Иоанн, в знак перемены их жизни, купал в реке Иордане. И когда он купал их, он говорил: — Я очищаю вас в воде, но совсем очистить вас может только дух Божий в вас самих.

И слова Иоанна о том, что людям надо переменить свою жизнь для того, чтобы наступило царство Божие, и что очиститься люди могут только духом Божиим,

слова эти запали в сердце Иисуса. И чтобы обдумать все то, что Он услышал от Иоанна, Иисус не вернулся домой, а остался в пустыне. И прожил там много дней, раздумывая о том, что Он слышал от Иоанна.

3

Иоанн говорил, что для того, чтобы пришло царство Божие, людям надо очиститься духом Божиим.

Что же значит очиститься духом Божиим? — думал Иисус. Если очиститься духом значит жить не для своего тела, а для духа Божьего, думал Иисус, то действительно пришло бы царство Божие, если бы люди жили духом Божиим; по-

тому что дух Божий один и тот же во всех людях. И живи все люди духом, все люди были бы едины, и пришло бы царство Божие. Но люди не могут жить только духом, люди должны жить и телом. Если же они будут жить телом, служить телу, заботиться о нем, то будут жить все врозь, будут жить так, как живут теперь, и никогда не придет царство Божие. Как же быть? — думал Иисус. Жить одним духом нельзя, а жить телом, как теперь живут мирские люди, дурно, и если жить так, то все будут жить врозь и никогда не придет царство Божие. Как же быть? Убить себя в своем теле, подумал Иисус, нельзя, потому что дух живет в теле по воле Бога. Убить себя значит идти против воли Бога.

И раздумав так, Иисус сказал Себе: выходит так, что нельзя жить одним духом, потому что дух живет в теле. Нельзя тоже жить одним телом, служить телу, как живут все люди. Нельзя также и освободиться от тела, убить себя, потому что дух живет в теле по воле Бога. Что же можно? Можно одно: жить в теле, как того хочет Бог, но, живя в теле, служить не телу, а Богу.

И, рассудив так, Иисус вышел из пустыни и пошел по городам и селам проповедовать Свое учение.

4

И разнеслась молва об Иисусе по округе, и много народу стало ходить за Ним и слушать Его.

И Он говорил народу: — Вот вы ходили слушать Иоанна в пустыню, зачем вы ходили к нему? Ходят смотреть людей в богатых

одеждах, но те живут во дворцах, а в пустыне ничего этого не было. Зачем же вы ходили к Иоанну в пустыню? Вы ходили слушать того, кто учил вас доброй жизни. Как же он учил вас? Он учил вас тому, что должно прийти царство Божие, но что для того, чтобы оно пришло, чтобы не было зла в мире, нужно, чтобы все люди жили не врозь, каждый для себя, а все были едины, все любили друг друга. Так для того, чтобы пришло царство Божие, вам прежде всего надо изменить жизнь свою. Царство Божие придет не само собою, не Бог устроит это царство, а вы сами должны и можете установить это царство Божие, а установите вы его тогда, когда постараетесь изменить жизнь свою.

Не думайте, что царство Божие явится видимым образом. Царство Божие нельзя видеть. И если вам скажут: оно здесь или там, — не верьте этому и не ходите. Царство Божие не во времени или месте каком-нибудь. Оно везде и нигде, потому что оно внутри вас, в вашей душе.

5

И все яснее и яснее толковал Иисус Свое учение. И один раз, когда собралось к Нему много народа, Он стал говорить народу о том, как надо жить людям для того, чтобы пришло царство Божие.

Он говорил: — Царство Божие совсем другое, чем царства мирские. В царство Божие войдут не гордые, не богатые. Гордые и богатые царствуют теперь. Они теперь веселятся, и теперь их все хвалят и уважают. Но откуда они

будут гордыми и богатыми и в душе их не будет царства Божия, не войдут они в царство Божие. Войдут в царство Божие не гордые, а смиренные, не богатые, а нищие. Но войдут в царство Бога смиренные и нищие только тогда, когда они будут смиренными и нищими не от того, что они не сумели сделаться славными и богатыми, а от того, что не хотели грешить, чтобы стать знатными и богатыми. Если же вы нищие только от того, что не сумели разбогатеть, то вы как соль несоленая. Соль нужна только тогда, когда она солоная; если же она не солоная, то она ни на что уже не годится, и ее выбрасывают.

Так и вы, — если вы нищие только от того, что не сумели разбогатеть, то и вы никуда не годитесь, — ни в бедные, ни в богатые.

И потому прежде всего одно на свете нужно: это быть в царстве Божьем. Ищите царства Божия и правды Его, и все, что вам нужно, будет у вас.

И не думайте, что Я учу чему-нибудь новому; Я учу тому же, чему учили вас все мудрецы и святые люди. Я учу только тому, как исполнять то, чему они учили. А чтобы исполнять то, чему они учили, надо соблюдать заповеди Божьи, — не говорить только про них, как говорят ложные учителя, а исполнять их. Потому что только тот, кто исполняет заповеди Божьи и примером своим научает и других исполнять их, только тот войдет в царство небесное.

6

И Иисус сказал:

Первая заповедь в том, что в

старом законе сказано: не убий. И что грешен тот, кто убивает.

А Я говорю вам, что если человек сердится на брата, то он уже грешен перед Богом; еще больше грешен, если он сказал брату глупое ругательное слово. Так что если станешь молиться и вспомнишь, что ты сердишься на брата, то, прежде чем молиться, поди и помирись с ним, и если нельзя тебе почему-нибудь сделать это, то в душе своей затуши злобу против брата.

Это одна заповедь.

Другая заповедь в том, что в старом законе сказано: не прелюбодействуй, а если разошелся с женою, то дай ей разводную.

А Я говорю вам, что не только не должен человек прелюбодействовать, но если он смотрит на женщину с дурными мыслями, то он уже грешен перед Богом. О разводе же говорю вам: что кто разведется с женою, тот сам прелюбодействует и жену вводит в прелюбодеяние, вводит в грех и того, кто женится на разведенной.

Это вторая заповедь.

Третья заповедь в том, что в старом законе вашем сказано: не преступай клятвы, но исполняй перед Богом клятвы твои.

А Я говорю вам, что клясться совсем не надо, а что если спрашивают тебя о чем-нибудь, то говори: да, если да; и нет, если нет. Клясться же ничем нельзя. Человек весь во власти Бога, и потому он не может вперед обещаться, что сделает то, в чем поклянется.

В этом третья заповедь.

Четвертая заповедь в том, что

в старом законе сказано: око за око и зуб за зуб.

А Я говорю вам, что не надо платить злом за зло, и око за око, и зуб за зуб. И если кто ударит тебя в одну щеку, лучше подставить другую щеку, чем за удар отвечать ударом. И кто захочет взять у тебя рубашку, то лучше отдать и кафтан, чем враждовать и драться с братом. Не надо злом противиться злу.

В этом четвертая заповедь.

Пятая заповедь в том, что в старом законе вашем сказано: любви человека своего народа, а ненависть людей чужих народов.

А Я говорю вам, что надо любить всех людей. Если люди считают себя врагами вашими, и ненавидят, и проклинают вас, и нападают на вас, то вы все-таки любите их и делайте им добро. Все люди сыны одного Отца. Все братья, и потому надо одинаково любить всех людей.

В этом пятая и последняя заповедь.

7

И сказал еще Иисус всем слушающим Его о том, что будет от того, что они станут исполнять Его заповеди.

— Не думайте, сказал Он, что если не будете сердиться на людей, будете мириться со всеми, будете жить с одной женой, не будете клясться и присягать, не будете защищаться против обижающих вас, будете отдавать все, что у вас просят, будете любить врагов, — не думайте, что если будете жить так, то жизнь ваша будет трудная, хуже той, какую вы ведете теперь. Не думайте этого, — жизнь

ваша будет не хуже, а много лучше теперешней. Отец наш небесный дал нам Свой закон не для того, чтобы жизнь наша стала хуже, а для того, чтобы мы имели жизнь истинную.

Живите по этому учению, и придет царство Божие, и все, что вам нужно, будет у вас.

Птицам и животным Бог дал Свой закон, и когда они живут по этому закону, им хорошо. И вам будет хорошо, если будете исполнять закон Бога, То, что Я говорю, ведь Я говорю не от себя, а это закон Бога, и закон этот записан в сердцах всех людей. Если бы закон этот не давал всем людям блага, Бог не дал бы его.

Закон вкратце в том, чтобы любить Бога и ближнего, как самого себя. Тот, кто исполняет этот закон, поступает с другими, как он хочет, чтобы другие поступали с ним.

И потому всякий, кто слушает слова эти Мои и исполняет их, делает то же, что делает человек, строящий дом на камне: такой человек не боится ни дождя, ни разлива рек, ни бурь, потому что дом его построен на камне. А всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, тот делает то же, что делает человек безрассудный, если строит дом свой на песке. Такой дом не устоит ни от воды, ни от бурь и упадет и разрушится.

И когда Иисус окончил эти слова, народ дивился учению Его.

8

И после этого стал Иисус притчами толковать всему народу про то, как надо понимать царство Божие.

Первую притчу Он сказал такую:

Когда человек посеет семена на своем поле, то он не думает о них, а спит ночью и встает днем и делает свои дела, не заботясь о том, как семя выходит и растет. Семена же сами собой бухнут, прорастают, выходят в зелень, в трубку, в колос и наливают зерна. И только тогда, когда поспеет урожай, посылает хозяин жнецов, чтобы сжать ниву.

Так и Бог не устанавливает Своей силой царство Божие среди людей, а предоставил самим людям делать это.

Вторую притчу Иисус сказал о том, что если в человеке нет внутри его царства Божия, то такого человека не принимает Бог в Свое царство, а оставляет его в миру до тех пор, пока он сам не сделается достойным царства Божия. Он сказал: — Царство Божие похоже на то, как рыбак протягивает по морю сети и захватывает всякую рыбу; захватив же рыбу, отбирает тех, какие нужны, ненужных же пускает опять в море.

И об этом сказал еще третью притчу:

Посеял хозяин хорошие семена в поле своем. И стали вырастать семена, выросла среди них и дурная трава. И вот работники пришли к хозяину и говорят: или ты плохие семена сеял? У тебя на поле много дурной травы вышло. Пошли нас, мы выполем. А хозяин говорит: не надо, а то вы станете полоть дурную траву и потопчете пшеницу. Пускай растут вместе. Придет жатва, тогда велю жнецам отобрать пшеницу, а дурную траву бросить.

Так и Бог не позволяет людям

вступаться в жизнь других людей и Сам не вступается в нее. Каждый человек только сам своими силами может прийти к Богу.

9

И кроме этих притч, сказал Иисус еще такую притчу о царстве Божием. Он сказал:

Когда высевает семена на поле, то не все семена вырастают одинаково. А бывает с семенами так: одни семена попадают на дорогу, и налетают птицы и выклеивают их; есть еще такие семена, что попадают на каменистую землю, и эти семена хоть и прорастают, но не надолго: не в чем им корениться, ростки скоро засыхают; и есть еще и такие семена, что попадают в бурьян, и бурьян заглушает их. А есть такие, что попадают в хорошую землю и вырастают и приносят от одного зерна 30 и 60 зерен.

Так же люди бывают такие, что не принимают царство Божие в сердце свое, приходят к ним искушения плоти и похищают посеянное, — это семена на дороге. На каменистой земле семена — это когда люди сперва с радостью принимают учение, а потом, когда приходят обиды, гонения из-за учения, то отказываются от него.

Семена в бурьяне — это когда люди и поняли смысл царства Божьего, но заботы мирские и жадность к богатству заглушают в них смысл учения. На хорошей же земле семена — это те, кто понял смысл царства и принял его в сердце свое, — эти люди дают плод и сам 30, и сам 60, и сам 100. Так что тот, кто удержал то, что дано ему, тому дается многое, а кто не

удержал, у того последнее отнимается. И потому всеми силами старайтесь вступить в царство Божие. Ничего не жалеите, только бы войти в него.

Делайте так, как сделал тот человек, который, когда узнал о том, где был зарыт большой клад, продал все, что имел, и купил тот участок земли, где был клад, и стал богачом. Так и вы поступайте.

Помните, что малое усилие для царства Божия дает большие плоды; все равно, как из малого семечка вырастает высокое дерево.

Всякий человек может одними своими силами войти в царство Божие, потому что царство Божие внутри нас.

10

И услышав эти слова, один фарисей, по имени Никодим, пришел к Иисусу и спросил Его: как понимать то, что царство Божие внутри нас?

И Иисус сказал: — Царство Божие внутри нас значит то, что всякий человек, чтобы войти в царство Божие, должен родиться снова.

А Никодим спросил: — Как же может человек родиться снова? Разве может человек войти в брюхо матери и опять родиться?

Иисус сказал ему: — Родиться снова значит родиться не плотским рождением, как родится ребенок от матери, а родиться духом. Родиться же духом значит понять то, что дух Божий живет в человеке и что, кроме того, что всякий человек рожден от матери, он рожден еще от духа Бога. Рожденное от плоти — плоть, оно страдает и умирает, рожденное же от духа —

дух и живет само собой и не может ни страдать, ни умирать.

Бог вложил дух Свой в людей не для того, чтобы они мучались и погибали, а для того, чтобы они имели жизнь радостную и вечную. И всякий человек может иметь такую жизнь. Такая жизнь и есть царство Божие.

И потому царство Божие надо понимать не так, что для всех людей в какое-нибудь время и в каком-нибудь месте придет царство Божие, а так, что если люди признают в себе дух Божий и живут им, то такие люди вступают в царство Божие и не страдают и не умирают; если же люди не признают в себе духа и живут для тела, то такие люди страдают и погибают.

11

И все больше и больше народа ходило за Иисусом и слушало Его учение. И фарисеям это стало неприятно, и они начали придумывать, как бы обвинить Иисуса перед народом.

Шел раз Иисус в субботу с учениками через поле. Ученики рвали по дороге колосья, растирали их в руках и ели зерна. А по учению евреев Бог установил с Моисеем завет о том, чтобы люди ничего не работали в субботу, а только молились Богу. Увидали фарисеи, что ученики Иисуса труют колосья в субботу, и остановили учеников и сказали им: — Так не годится делать в субботу. В субботу нельзя работать, а вы растираете колосья. В законе сказано, что следует казнить смертью тех, кто работает в субботу.

Иисус услышал это и сказал: —

Пророк сказал, что Бог хочет любви, а не жертвы. Если бы вы понимали эти слова, вы не осуждали бы Моих учеников. Человек важнее субботы. И фарисеи не знали, что ответить на эти слова, и замолчали.

В другой раз фарисеи увидели, что Иисус пришел в дом к сборщику податей Матфею и обедал вместе со всеми домашними. А те, с кем Он обедал, считались у фарисеев неверными. Фарисеи стали осуждать Иисуса: они говорили, что незаконно есть с неверными.

А Иисус сказал: — Я учу истине всех, кто хочет научиться истине. Вы считаете себя верными и думаете, что знаете истину, и потому вас уже нечему учить. Учить, стало быть, можно только неверных. А как же они научатся истине, если мы не будем сходить с ними?

Тогда фарисеи, не зная, что ответить на это, стали укорять учеников Иисуса за то, что они едят хлеб неумытыми руками. Сами же они строго вели по своему преданию, как мыть руки и посуду. И все, что с торгу, если не вымыли, не ели.

На эти слова Иисус сказал: — Вы упрекаете нас за то, что мы не соблюдаем омовения, когда едим, но ведь осквернить человека не может то, что входит в тело человека. Оскверняет человека то, что выходит из души человека, потому что из души человека выходит зло, блуд, убийство, воровство, корысть, злоба, обман, наглость, зависть, клевета, гордость и всякое зло. Все зло выходит из души человека, и только зло может осквернить человека. Пусть будет у вас в душе любовь к братьям, и тогда все будет чисто.

Отошел один раз Иисус от учеников и стал молиться. И когда Он кончил, ученики подошли к нему и сказали: — Учитель, научи нас молиться.

И Он сказал им:

— Прежде всего, молиться надо не для того, как это часто делается, чтобы люди видели вас и хвалили за это. Если так делают, то делают это для людей, и от людей бывает и награда за это. Но для души нет пользы от такой молитвы. Вы же, если хотите молиться, то зайдите в такое место, где бы никто не видал вас, и там молитесь Отцу своему, и Отец ваш даст вам то, что нужно для души вашей.

И когда молитесь, не говорите лишнего. Отец ваш знает, что вам нужно, и если вы и не скажете всего, Он даст вам все то, что нужно душе вашей.

Молиться прежде всего надо о том: чтобы свят был в нас дух Божий; чтобы пришло царство Божие в душу нашу; чтобы жить нам не по своей воле, а по воле Бога; чтобы не желать нам лишнего, а только дневного пропитания; чтобы помог нам Отец наш прощать братьям нашим грехи их; чтобы помог нам избавиться от соблазнов и зла.

Молитва ваша пусть будет такая: Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое; да придет царство Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, так же как и мы прощаем всем тем, кто согрешил против нас, и избавь нас от искушения и от зла.

Молиться надо так, но если

хотите молиться, то прежде всего подумайте о том, нет ли у вас на душе зла на кого-нибудь, и если вспомните, что есть зло на кого-нибудь, то подите прежде и помиритесь с тем, на кого держите зло, и если не можете найти того человека, то в сердце своем вырвите зло против него и тогда только молитесь. Тогда только молитва ваша будет на пользу вам.

13

Случилось раз Иисусу войти к фарисею обедать. И пока Он сидел в доме у фарисея, пришла женщина городская. Она была неверная. Она узнала, что Иисус в доме у фарисея, и пришла туда же и принесла склянку с духами. И стала на колени у ног Иисуса и заплакала, и слезами обливала Его ноги, и вытирала волосами и поливала духами из склянки.

И увидав это, фарисей соблазнился и подумал про Иисуса: если б человек этот точно был пророк, то Он узнал бы, что женщина эта неверная и распутная и не позволил бы ей дотрагиваться до Себя.

Иисус догадался о том, что думал фарисей, обернулся к нему и говорит:

– Сказать тебе, что Я думаю?

– Скажи, – говорит фарисей.

Иисус и говорит:

– Вот что: два человека считали себя должными одному богачу, один 500 рублей, а другой 50. И не было чем отдать ни тому, ни другому. Богач и простил им обоим. Ну, как по твоему разуму, кто из двух будет больше любить богатого человека и ухаживать за ним?

Фарисей и говорит:

– Известно, тот, кто больше был должен.

Иисус показал на женщину и говорит:

– Так-то – ты и эта женщина. Ты считаешь себя правоверным и потому малым должником перед Богом; она считает себя неверною и потому большим должником. Я пришел к тебе в дом, ты не дал Мне воды ноги умыть, она слезами умывает и волосами отирает Мои ноги. Ты не поцеловал Меня, а она целует Мои ноги. Ты не дал Мне масла голову помазать, а она дорогими духами поливает Мне ноги. Она считает себя большой грешницей, и потому ей легко любить людей. А ты считаешь себя праведным, и потому тебе трудно любить. А тому, кто любит много, все прощается.

14

В другой раз проходил Иисус Самарию. Уморился Он и сел у колодца. А ученики Его пошли в город за хлебом. И приходит из деревни женщина за водой. Иисус попросил у нее напиться. Женщина и говорит Ему: – Ведь вы, иудеи, с нами, самарянами, не общаетесь. Так как же Ты просишь у меня пить? Иисус же сказал ей: – Если бы ты знала Меня и то, чему Я учу, ты бы не говорила так, а дала бы Мне пить, и Я бы дал тебе пить воды жизни.

Женщина не поняла Его и сказала: – Откуда Ты возьмешь какой-то другой воды? Тут только и есть вода, что в этом колодце отца нашего Иакова.

И Он сказал ей: – Кто напьется твоей воды, тот опять захочет



пить, а кто Моей воды напьется, тот всегда будет доволен и даже других людей своей водой поить будет.

Женщина поняла, что Он говорит о божественном, и говорит: — Да ведь я самарянка, а Ты иудей, и потому Тебе нельзя научить меня. Наши на этой горе молятся, а вы, иудеи, говорите, что только в Иерусалиме дом Бога.

И Иисус сказал: — Это было прежде, а теперь пришло время, когда люди будут молиться Отцу и не на этой горе и не в Иерусалиме, а все будут почитать Отца небесного не в том или другом месте, а в духе и истине. Бог — это дух, и почитать Его надо в духе и истине.

Женщина не разобрала, что Он сказал ей, и говорит: — Слыхала я, что посланник Божий придет, тогда все разъяснит.

А Иисус сказал: — Пойми, женщина, что Я сказал тебе, и ничего не жди больше.

15

Иисус Сам ходил и проповедовал по городам и селам, а кроме того, послал учеников Своих в те места, где хотел Сам побывать. Он сказал им:

— Много людей не знают блага настоящей жизни, всех жалко Мне и всем хотел бы открыть то, что знаю. Как хозяин не может сам управиться с своим полем и зовет на жатву рабочих, так и Я. Идите по разным городам и везде разглашайте учение царства Бога. Говорите людям заповеди царства и сами во всем исполняйте эти заповеди.

Я посылаю вас, как овец среди волков. Будьте мудры как змеи и

нисты как голуби. Первее всего, ничего не имейте своего, ничего не берите с собой: ни мешка, ни хлеба, ни денег, только платье на теле да обувь.

И не делайте различия между людьми, не выбирайте хозяев, куда вам заходить. А в какой первый придете дом, в том и оставайтесь. Когда придете в дом, поздоровайтесь с хозяевами. Если примут вас, входите; не примут – идите в другой дом.

Люди будут ненавидеть вас за то, что вы будете говорить, и будут на вас нападать и гонять вас из места в место, но вы не смущайтесь. И когда выгонят вас из одной деревни, вы идите в другую, а из той выгонят, идите в третью. Будут вас гонять, как волки гоняют овец, но вы не робейте. И будут на суды водить вас, и будут сечь вас, и будут водить к начальникам, чтобы вы оправдывались перед ними. И когда вас будут водить на суды и к начальникам, не думайте, что вам сказать, а знайте, что в вас живет дух Отца вашего, и Он скажет то, что нужно сказать.

Люди могут убить ваше тело. Но душам вашим они ничего не могут сделать, и потому не бойтесь людей. А бойтесь только того, чтобы не погибла душа ваша вместе с телом, если вы отступите от исполнения воли Отца, – вот чего вы бойтесь. Ни одна птичка не погибает без воли Отца. Без Его воли не падает и волос с головы. Если вы в воле Отца, так чего же вам бояться?

16

И посланные ученики ушли в одну сторону, а Иисус ходил с ос-

тальными учениками в другой стороне по деревням и селам. И случилось Ему раз зайти в одну деревню. И одна женщина, звали ее Марфа, позвала Его к себе в дом. И Он вошел и стал говорить, и сестра Марфы, Мария, села у ног Его и слушала Его. А Марфа хлопотала об угощеньи.

И увидала Марфа, что сестра ее сидит у ног Иисуса и слушает Его. Она подошла к Иисусу и сказала: – Я одна хлопочу по хозяйству, а сестра сидит, Тебя слушает. Скажи ей, чтобы она поработала со мной.

И Иисус сказал: – Марфа! Марфа! Заботишься и хлопочешь о многих делах, а одно только дело нужно. И Мария выбрала то одно, что нужно и чего никто не отнимет от нее. Для истинной жизни нужна не пища тела, а пища духа.

И об этом же сказал Иисус такую притчу:

Подошло раз у одного человека много хлеба. И подумал себе этот человек: теперь перестрою амбары, выстрою большие и соберу туда все мое добро. И скажу душе моей: вот тебе, душа, всего вволю, отдыхай, ешь, пей и живи в свое удовольствие. И сказал ему Бог: глупый, в нынешнюю ночь возьмут твою душу, и все, что ты припас, другим достанется.

Так-то бывает и со всяким, кто готовит для плотской жизни, а не живет для души.

Только тот живет истинной жизнью, кто отказался от своей воли и готов на каждый час исполнять волю Бога. Тот же, кто заботится о жизни плотской, тот губит жизнь истинную.

Продолжение следует

ИМ НУЖНА ВАША ЛЮБОВЬ

Меня взволновало письмо без подписи под названием "У меня есть все, но..." (Напоминаем: это письмо опубликовано в № 1 за 1990 г. – **Ред.**) В нем – жалобы на судьбу, на родителей. У меня они не лучше, ее хоть одевают по-модному. И на том спасибо надо говорить, а что кричат – видно, сама виновата.

Расскажу немного о своей судьбе. У нас в семье было пятеро детей, я замужем, мне 18 лет. За свою короткую жизнь я не видела ничего хорошего. Когда ходила в школу – работала по дому, ухаживала за коровами, по две фляги воды возила на коляске. В школе я училась плохо, мне некогда было заниматься, очень много дел было у меня. Я ходила в чем попало, на год мне покупали два платья, одни туфли, пальто на три года. Когда я нечаянно порвала одежду – избили так, что я неделю не ходила в школу. Потом я училась в техникуме на агронома. И там мне не было весело – я привыкла к правде, не могу смотреть, как кто-то смеется над больными и слабыми. За что не раз была бита, за что и отбили почки. Вскоре я полюбила парня. Да

вот беда – мне не в чем было пойти в город, денег мне давали мало, приходилось ночью работать на молокозаводе. Мои родители не дали нам быть вместе, он ушел к другой. В 16 лет я вышла замуж, сейчас у меня муж, дочка, но нет любви. По-прежнему люблю своего первого. Никто не знает, как мне тяжело, никому помочь, только сама себе.

Девушки, не гонитесь за горами золота, вы их заработайте сами. Помогайте родителям, не перечьте им, будьте добры к мамам. Когда у вас будут свои дети, вы поймете, как нелегко воспитывать детей. Поглядите на родителей – и поймите, как им нужна ваша любовь.

Наташа Б.,
Ростовская область

С МАСКОЙ ЧУДОВИЩА

Мне 15 лет, я видела грязь, именно на ней воспитана. Я грубая и жестокая и стала такой из-за нашей жизни. Почему-то многие считают, что люди меняются со временем. Это не так. Я жила так всю свою сознательную жизнь, жестко воспринимая

окружающее. Я ненавижу людей, не смогу полюбить, меня будут отвергать начальники. Я пишу стихи, но кому это надо в наше время очередей и талонов? Я пыталась добиться справедливости, хотя тщетно. Мне неприятно жить, я не вижу светлого в нашей жизни. И Бог отвернулся от нас, ведь мы забыли его. Очень плохо, что наша страна выбрала путь социализма — эта цель недостижима. Хорошо, что мы не понимаем этого до конца. Мир создан для униженных и возвышенных. Бог не хотел этого, но воля людская такова, что мы все сделали себя такими, какие есть.

У нас в стране много светлых голов, но им не дают реализоваться. Были Сахаров и Цой. Андрей Дмитриевич — бумага, ушедшие в архив. Виктор — песни, которые мы не забудем. Они хотели, чтобы их — поняли.

У меня — добрая душа, но я знаю, что она не нужна никому, и я хожу с маской чудовища. Иногда прорвется правда, она удивляет даже близких. Они считают меня еще ребенком.

Я сжимаю кулаки,
Я иду вперед.
И безумцы-дураки
Открывают рот.

А я бью их и уже
Не имею сил.
На последнем этаже
Мне никто не мил...

Вероника И.,
г. Омск

Я ДЕВЧОНКА НИЧЕГО

Я — современная симпатичная девчонка. Учусь так себе, но это не потому, что я дура. Я просто не хочу учиться, мне неинтересно. Ведь легче провести время на улице, в кино, в компании, а не за уроками. Я очень хочу стать врачом, но выше ПТУ мне "не светит". Я не люблю свою мать. Она меня бьет, хотя я уже не маленькая. У меня все есть, но мне не хватает того, чем дорожит каждый. Я летом убежала из дома. Мать меня нашла в подезде соседнего дома, я курила с пацанами. Так она меня там же, перед ними, стала бить по лицу и позорить. Пацаны заступились за меня, а она им говорит: "Вы, сопляки, еще указываете". После этого я наглоталась таблеток. Ничего, жива осталась. Наверное, у меня нервная система не в порядке, много нервничаю, а так я девчонка ничего.

Крашусь, курю, грублю, раскованная. Но кто в наше время не такой?

Я очень люблю музыку, но магнитока у меня нет. "Плохо себя ведешь, исправишься, куплю", – говорит мне мать. Да пошел он на фиг, даром не надо, все равно свой характер не изменю. Я нравлюсь себе, да и другим тоже такая, какая я есть.

Леночка М.,
г. Тихвин

БОЛЬНО И ОБИДНО

Мне сейчас очень плохо. Я в ссоре с мамой, со своими друзьями, со своим парнем. Мать моя – женщина сама по себе хорошая и добрая. Но когда она приходит с работы (она учительница), она всегда нервная, и поэтому, когда она начинает кричать, я стараюсь промолчать, но бывает так, что она меня часто называет словами, которых я не заслужила. Мне становится очень больно и обидно, что моя родная мама это говорит.

С друзьями я рассорилась потому, что я не могу так жить, как они. У нас занятия с ними одни – выходим часов в 8 вечера гулять, идем к кому-нибудь домой или в "камору". Там мы пьем, курим, "веселимся", слушаем музыку. Есть у нас даже "спецкабинеты" для временно любящих, где мальчики наши могут удовлетворить свою похоть. А

ведь в нашей компании мальчики и девочки от 13 до 18 лет. Но я не хочу жить так!

Оля Г.,
г. Теплогорск

ВЫ ДОЛЖНЫ БОРоться

Мне не хочется подробно писать о своей беде. Напишу одно – я воспитываюсь в интернате. Этим все сказано. Иногда хотелось наложить на себя руки, но вовремя приходила в себя. Хочу сказать тем, кому детство не в радость: ни в коем случае не отчаивайтесь. Вы должны бороться. Бороться любым способом за свое счастье и вообще существование. Если человек пройдет через все испытания, которые преподнесет судьба, он научится жить и выдержит в любых условиях. Научится любить своих детей, научится любить все живое и прекрасное.

Юля П.,
г. Свердловск

"ШКОЛЬНЫЙ" ВОПРОС

Я хочу задать один "школьный" вопрос – про учебно-производственную практику. В прошлом году, когда я учился в восьмом классе, у нас эту практику отменили, она себя не оправдала, и в этот день мы учились. И было здорово, по

пять уроков в день. А в этом году практику опять ввели. Но зачем она? Нам предложили на выбор: завод, ЭВМ, горнищеторгкомбинат, макраме. Парни пошли на завод или изучать ЭВМ. Пришли, и оказалось, что там нет работы, то мастера нет, то они не хотят учить. Так и бегали все шесть часов по заводу. Горнищеторгкомбинат вообще отказался взять наших девчонок, а на макраме ни одна не захотела идти. И что получилось? Теперь у нас по шесть уроков, приходим домой в два, в полтретьего, не успеваем учить уроки, а задают много. В воскресенье отдохнуть некогда – в субботу шесть уроков, в понедельник тоже. Вот и учишь. Так не лучше ли убрать практику и сделать опять по пять уроков в день? Нам говорят: кто не хочет учиться, идите работать, да и сами выгоняют из школы тех, кто плохо учится, а без практики мы учились бы лучше.

Сергей,
г. Тюмень

ЖДУ ВСТРЕЧИ С НИМ

Я училась в шестом классе, когда впервые услышала Его. Он вошел в мою жизнь, вошел решительно, без долгих разъяснений. Я не знала о нем ничего, только очень редко слышала его песни. Мне было плевать, кто он, где живет и все

остальное. Я знала – он жил для меня, вернее, я жила для него. Это Цой.

Можно подумать, что это очередной пример "звездной любви". Может быть, но с одним "но": я любила и люблю не его образ, создаваемый на сцене, а Его самого, его характер, взгляд, его песни, потому что он жил ими, это была его стихия. Нельзя разделить Его и его песни. Это единое целое.

Тогда я еще не понимала полностью, что значит для меня этот человек. Он жил, был счастлив, а может, и нет. Но он посвящал мне свои песни, а значит, и себя самого. Он был моим.

Но вот наступило то лето. Август. Гром среди ясного неба. Сначала я не поверила в это. Его больше нет. Но смерть так же, как и время, беспощадна.

И тут со мной что-то случилось. Я сломалась. Для меня все потеряло смысл, время остановилось, а может, полетело слишком быстро. Я теперь слушала его голос, записанный на кассете, и не могла слушать. Я думала о том, что единственное место, где мы встретимся, – это Рай. Я не сомневалась, что он попал туда.

У меня забрали самое дорогое, что у меня было. Он ушел, а вместе с Ним и смысл моей жизни. Как я жалела, что в этот день на меня не упало дерево, не задавила машина. Может, я бы смогла заменить его на том свете, а Он бы жил,

но этого не произошло.

Я чувствую, что не буду жить долго. Господь должен понять свою ошибку. Пока я живу лишь для того, чтобы сохранить память о Нем — единственное, что у меня осталось. С Его помощью я поняла, что в человеке главное дух, а не тело, потому что вся материя бессмысленна. Душа Его со мной, но его нет с нами. В этом вся бессмыслица и несправедливость. Человек создан для того, чтобы бороться, чтобы у него была высокая в небе звезда. У меня ее нет, а значит, нет и настоящей жизни. А жизнь "наполовину" мне не нужна. Он жил на полную катушку, и если я хотела жить, то именно так, а не иначе. Но сейчас это невозможно.

Сейчас я слушаю Его голос, помню его и жду встречи с Ним.

Дина
Без адреса

Я ВСЕГДА ВСЕ ДЕЛАЮ НАВЕРНЯКА

Пишу без трепа. Как есть.

Нет сил жить дальше. Но надо. А внутри идет отсчет: 10, 9, 8, 7... Что будет — не знаю. Нет окна. Все внутри меня. Все во мне. Мой фасад показывает: нуу проблем, о'кей. Так надо. Но кому надо? Мне?! Кому угодно, но не мне! Если все останется во мне, я

могу не выдержать. Нет никого, кто бы понял и промолчал. Никого нет. Есть только статья в черной рамке и его фотография. Хрупкий, худощавый Витькин силуэт. Он перед глазами. И его глаза. Взгляд в упор, осуждающе, требуя. Но нет сил. "Ты должен быть сильным, иначе — зачем тебе быть". Он прав. Он не лгал мне никогда. Он никому не лгал. Он жил и был самим собой. И вот теперь его нет. А большой стеклянный шар в груди все тяжелеет, растет и заслоняет небо. И он жив. Жив, потому что иначе нельзя. И заклинание, как крик: "Виктор Цой".

Все. Если выдержу, то останется этот шар в груди, если нет, то остается только попрощаться. Если я не выдержу это, то меня не спасут. Я всегда все делаю наверняка. Когда я буду на грани, моя жизнь будет стоить дешевле, чем сейчас. А сейчас только остается отворачивать руль мотоцикла одереженными руками от дерева, столба, мчась ночью на полной скорости. Пока что удается. И как стук сердца — или колес в голове: "Виктор Цой, Виктор Цой".

Это не любовь, нет. Это вера. Вера в него.

Не считайте это трепотней. В этом — я. И он. И моя жизнь. Мне некому больше говорить. Тусовка — она не спасает. Меня не спасает.

Виктория З.,
г. Воронеж

ЦОЙ. Ковбой. Человек мостовой



"Кино". Это слово встречается сейчас то и дело
написанным на стенах домов,
корявыми буквами на дверях лифта, подъезда,
на тротуарах. Но это отнюдь
не признание в любви кинематографу.
Экранное искусство здесь ни при чем.
Это плач по "Кино", которого больше нет.
По известной ленинградской рок-группе,
которая перестала существовать,
потому что ушел из жизни ее лидер Виктор Цой.
Погиб, мелькнув яркой звездой.

Оставшись навечно для миллионов поклонников
лучшим другом, братом, кумиром, богом.
"Цой – бог" – такая надпись тоже встречается,
как и многочисленные "Мы не забудем тебя, Виктор",
"Вернись, Витя!", "Прости нас, Цой".

Он был в зените славы. По опросу "Советского экрана" стал лучшим актером года за фильм "Игла". Билеты на концерты Виктора Цоя перепродавали по 30-40 рублей. Его фотографии хранили, как реликвии, а магнитофонные записи крутили днём и ночью. Тем более, что он любил ночь. Ходил всегда в черном (помните, как у Чехова в "Чайке": "Отчего вы всегда ходите в черном?" – "Это траур по моей жизни"). И это не казалось позой, выпендрежем, нарочитой загадочностью. Просто Виктор Цой и был загадочным. Ведь никто из поклонников даже не знал его отчества – Робертович. Многие даже не знали: Цой – это прозвище, псев-



доним, "кликуха"? Ведь у ленинградских панков, из которых он вышел, каких только кличек не было...

Исполненный чувства собственного достоинства молчун, живущий немного в стороне от "тусовки". Как кот, который гулял сам по себе. И пластика-то у него была кошачья. Изящный, ловкий, с уверенной стойкой на сцене – как

перед боем. А в бой – за то, что ему дорого в жизни, против того, что ненавидит, – Цой шел ежедневно. "Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне удачи!..." – песня звучала на финальных кадрах "Иглы", когда смертельно раненный Моро, герой Цоя-актера, не торопился упасть на снег, а прикуривал сигарету и неровной походкой уходил в ночь. Он свято верил, что ночью с ним ничего плохого не может случиться. Ночь его хранила... Цой погиб утром. Точнее, в полдень, когда многократно воспетая им "звезда по имени Солнце" была в зените. Не

ЦОЙ-АНГЕЛ
МУЧИТЕЛЬ

16

справился с управлением своего темно-синего "Москвича-2141". Считают, что заснул за рулем. И врезался в рейсовый "Икарус". Ехал с рыбалки. Сына, как обычно, в этот раз с собой не взял. Словно чувствовал. Он вообще чувствовал много такого, чего другие не могут сформулировать.

...Немногие видели документальные фильмы "Йа-хха!" и "Рок", где сообщалось, в частности, что популярный у рок-фанатов Виктор Цой работает кочегаром в котельной. Еще меньше зрителей, посмотревших снятую на "Ленфильме" дипломную картину "Город" о питерских тусовщиках конца 80-х. В гости к знаменитым "миткам" там приходил этот парень с самурайскими глазами в черном "прикиде". "Витюшка, братуха! – встречали его. – Спой нам что-нибудь свое". И он брал гитару.

Вообще-то свою первую песню Цой написал в восемнадцать лет (говорят, это была "Мои друзья всегда идут по жизни маршем – и остановки только у пивных ларьков..."), а в девятнадцать вышел на сцену. Был он тогда резчиком по дереву. Видимо, благодаря тому что крутился среди неформалов, и обосновался Виктор в популярной у завсегдадаев рок-клуба котельной, прозванной "Камчаткой". Там было больше времени заниматься любимым делом, чем на всякой другой работе. В 1982-м с помощью группы "Аквариум" он записал свою первую сольную акустическую программу "45". Совместно с "Аквариумом" – спасибо Борису Гребенщикову! – дал и премьерный концерт.

"– Электричка везет меня туда, куда я не хочу... Может, лучше и нету на свете калитки в Ничто".

...Цой говорил от лица как бы своих друзей. А получалось – от лица поколения. Пел о себе. А получалось – о каждом.

Когда в начале 70-х публика появилась на руках Андрея Макаревича после концертов до гостиницы, Витя ходил всего-навсего во второй класс (возможно, и не знал "Машины времени"). Ему исполнилось лишь одиннадцать, когда всерьез заговорили о Борисе Гребенщикове, который заполнял созданным им "Аквариум" очищающей водой дерзких метафор. Так что Цой был одним из самых молодых лидеров рок-н-ролла (но успел активно поработать десять лет) – он моложе Игоря Сукачева ("Бригада С"), Константина Кинчева ("Алиса"), Олега Гаркуши ("Аукцион").

Что отличало этого "нашего Мика Джаггера", чьими фотографиями сейчас завалены киоски (правится ли это родным и друзьям певца?), от других "рокеров"? По сути он был прирожденным героем, закаленным, упрямым. Казалось, что Цой даже ощущает себя персонажем какого-нибудь приключенческого фильма. И в то же время – бесстрастная мимика, "холодный" вокал. Это очень впечатляло: колоритная внешность, суровое выражение лица – и странная уверенность в своих силах.

Да, персонаж певца (или, как нас учили в школе, лирический герой) готов выйти в любой момент из дома под холодный ливень, отправиться в дальний неизвестный путь, вступить в схватку – только хочет, чтобы о нем помнили друзья. Он таинственно улыбается своей безусловной победе, даже когда "сажает алюминиевые огурцы на брезентовом поле". И когда тонет,

зная, где ближайший брод. Легкий путь ему чужд, его удел – риск. Но погибать зазря он вовсе не собирается, даже если гибель будет красивой – он обязательно должен выиграть, причем по большому счету... Вот и Моро из "Иглы", пытаясь спасти девушку-наркоманку, бросает вызов миру подпольного бизнеса, наркомафии, хотя понимает, что шансов на победу у одиночки нет. Однако отступить он не может. Не та натура. И даже получив удар ножом в живот, он оставляет последнее слово за собой...

Этот нашумевший и все еще не показанный по телевидению фильм Рашида Нугманова был попыткой снять с нынешней молодежи флер инфантилизма, заставить ее отрешиться от социальной пассивности, от статуса "нулевого поколения". Нет, Моро не читал мораль, никого никуда не призывал, а просто действовал. И это оказывало магнетическое воздействие. Дон Кихот не был любимцем Цоя. "Он не сконцентрирован, он слаб", – считал певец.

...Самобытен мир песен В. Цоя, построенных на незамысловатых, казалось бы, образах ("сигареты в руках, чай на столе, коробка спичек пуста"), за которыми встает стиль жизни "поколения дворников и сторожей", их философия. Настрой неоромантический, экспрессивный – своего рода скорлупа для душевной боли лирического героя Цоя, в котором, как точно заметил один из рок-журналистов, борются и сосуществуют нежно влюбленный десятиклассник и уличный хулиган. Его исповедь, как правило, переходит в осмысление сути "детей застоя", в поиск корней их проблем и обид на жизнь:

*"Мы хотели пить, не было воды,
Мы хотели света, не было звезды,
Мы выходили под дождь
и пили воду из луж,
Мы хотели песен, не было слов,
Мы хотели спать, не было снов,
Мы носили траур, оркестр играл туш".*

У каждого его строки рожают свои ассоциации – хотя хриплый голос Цоя ни на чем не настаивает. Подкупает честность. Для него это было тем, чем нельзя поступиться. "Нам за честность, – говорил певец в одном интервью, – могут простить практически все: и, скажем, недостаточно профессиональную игру, и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность – уже ничего не прощают".

Он не любил притворяться, поэтому, видимо, и не мог стать лицевым в привычном смысле слова. Хотя был актером в душе. Наверное, Цой не смог бы сыграть задиристого Д'Артаньяна, язвительного Сирано де Бержерака, фанатичного Павку Корчагина, хотя черты всех этих героев и заложены в нем. Виктор – как и его любимец Брюс Ли, великий мастер кунг-фу (Цой сам занимался каратэ), остававшийся на экране самим собой, живущим своей жизнью, – предпочитал никого не изображать. Ему нравилось, как и в ленинградской "тусовке", оставаться в кино загадочным "одиноким ковбоем", приходящим невесть откуда, помогающим слабым, павшим духом и вновь отправляющимся бороться за справедливость на земле, вставать в полный рост на баррикадах. Бездомный и неприкаянный, благородный и несчастный. Человек мостовой...

Несколько лет назад Цой вышел быстрой походкой – поверх сюжета – в финале фильма Сергея Соловьева "Асса" (этот персонаж, точь-в-точь как Цой, был парнем без прописки и специального музыкального образования, желающим работать в рок-музыке). И перед толпой, зажегшей в ночной темноте спички, как факелы единения, спел пророческие на тот момент слова: "Перемен! Мы ждем перемен! Перемен требуют наши сердца!..." Ощутимым знаком происходящих в искусстве изменений было уже само появление полуподпольной рок-звезды на официальном экране: не в качестве музыкального антуража, а в качестве героя нашего времени. Который пропускает через свое сердце общую боль и беду. Бескорыстный, милосердный герой, который не хочет победы любой ценой, не собирается никому ставить ногу на грудь. Он был нужен Времени очищения.

Цой был кумиром как школьников младших классов, так и их тридцатилетних отцов. Он не кривлялся. Был далек от политики. Не терпел жлобства. Его влияние на умы поколения еще предстоит оценить. Ведь не случайно возник палаточный городок на Богословском кладбище в Ленинграде, где похоронен Виктор, не случайно появилась "стена Цоя" на Арбате, не случайны рукописные "заклинания" на стенах – будто они способны вернуть потерянное навсегда.

...Он не мог жить медленно. Скорость его "Москвича" в тот роковой миг 15 августа 1990 года была не менее 130 километров в час.

Петр ЧЕРНЯЕВ





Александр ЯКОВЛЕВ

ПОГРАНИЧНЫЙ ВОЗРАСТ

РАССКАЗ

Однажды между временем взрослых и временем детей пролегла граница. Граница, как ей и было положено, строго охранялась. Попробуй сунься.

Но редко кто совался. Своих дел было по макушку. У взрослых — по взрослую макушку. У детей — соответственно.

Во взрослом времени ракеты запускались в небо, а крейсера спускались на воду. Перегораживались могучие реки и осваивались новые земли. Отмечались памятные даты и говорились речи. Называлось это "юбилей". Обо всем, что делалось во времени взрослых, — о ракетах, крейсерах (перечисление см. выше) — можно было узнать из газет.

О том, что происходило в детском времени, ничего достоверно не было известно. Там не было газет. О важнейших событиях упоминалось вкратце — на заборе. Или говорилось двум-трем друзьям. Самым-самым. Называлось это "секрет".

Но предполагалось, что и в детском времени не скучают...

В одном месте граница проходила прямо по двору жилого дома. Во дворе, за границей, жили Стасик и Рожков. В доме — взрослый Еремичев.

Взрослый Еремичев после работы, на которой он запускал ракеты, перегораживал реки (перечисление см. выше), приходил домой и садился у окна — посмотреть, что там, за границей, делается.

За границей в этот день Стасик и Рожков катались на санках. Вернее, катался Рожков. А Стасик таскал его. Кряхтел и таскал. Кряхтел Стасик оттого, что Рожков был толстый, упитанный мальчик, а дело было летом, в июле. Потаскай тут — закряхтишь.

Взрослый Еремичев не одобрял такое катание. Во-первых: глупо. Во-вторых: уж больно противный скрежет полозьев по асфальту.

— Эй, — кричал взрослый Еремичев через границу, — пустяшным делом занимаетесь. Вы бы лучше как у нас: ракеты запускали, речи говорили (перечисление см. выше).

С той стороны границы ничего не отвечали. То ли не слышали обращения из-за скрежета полозьев, то ли боялись провокаций.

— Я говорю, — вновь звучал взрослый Еремичев, уловив момент, когда Стасик остановился перевести дух, — понапрасну силы расходуете. Смысл-то какой?

— А где же нам тогда трясулку взять? — отвечал Стасик, тоже пользуясь лишней минутой для передышки.

Пухленький Рожков ничего не отвечал. Сидел в санках и тупо смотрел перед собой.

— Бред какой-то, — бормотал Еремичев. — Что еще за трясулка? Эй? У нас такой нет...

— А, — махнул рукой Стасик. — Скоро узнаете.

И точно. Не успел Еремичев поужинать, как раз подвинул к себе чашку с горячим чаем... Дом мелко затрясся. Затряслось всё содержимое дома... Чайная ложка лихо отплясывала в блюде. Еремичев подхватил рукой лязгающую нижнюю челюсть и кинулся к окошку.

— П-п-п-рекратите! — заявил он через границу.

Там, за границей, из канализационного люка, как танкисты после боя, выбирались Стасик и Рожков.

Дом перестал трястись.

— Радиус действия слишком большой, — сказал Стасик, помогая Рожкову протискиваться через люк. — И фокус размыт. Надо править...

— Пять минут на санках, — вздохнув, сказал Рожков.

— Хм... Пять минут, — вздохнул и Стасик. — Думаешь, легко?

— А мне легко?

— Ну ладно...

Заскрежетали полозья. Через пять минут смолкли.

— Эй, зачем вам эта штука? — крикнул опять Еремичев.

— Как зачем? — утирая пот со лба, ответил Стасик. — Вот ляжем мы в тенек, под яблоню. Включим трясулку, когда захотим. И яблоки к нам сами попадают. Очень даже удобно.

— А при чем тут санки?

— Я не знаю, — сказал Стасик. — Это все он, толстый... Только когда его на санках таскаешь по асфальту, он изобретает чего-нибудь...

— А чего он еще может изобрести, кроме трясулки? — не отставал Еремичев.

— Не знаю. Все, наверно...

— Ну так уж и все? — не верил Еремичев.

— Не верите?

— Верю — не верю... Доказательства нужны, — говорил Еремичев, у которого во взрослом времени обещаниям давно не верили.

— Хорошо, — начинал заводиться Стасик. — Пожалуйста... Чего хотите?

Рожков безучастно молчал, будто все происходящее его ни капельки не касалось.

— Ну хорошо, — хитро зажмурился Еремичев. — Коли вы считаете, что там для вас, за границей, нет проблем, изобретите мне... Ну хоть бы... Сейчас...

Ради такого случая Еремичев спустился во двор и подошел к границе. В руках у него была папка. Он решил пошутить. Для шуток во

времени взрослых почти не было времени. Вот поэтому-то Еремичев старался не упустить удобного случая.

— Вот, — сказал он, останавливаясь перед границей и вынимая из папки чертеж. — Мы сейчас готовим к запуску ракету. С людьми, между прочим. Если бы без людей — не было бы и проблем. Но вот с людьми... Как двигатели выходят на режим — такая вибрация... Прямо как ваша трясушка. В чем тут дело? А?

И Еремичев улыбнулся.

Стасик толкнул тихого Рожкова.

— Слышь? Как? Сможешь?

— Неохота, — сонно сказал Рожков.

— Это как же понимать? — поинтересовался Еремичев. — А если бы была охота? Сделали бы?!

— Вообще-то, я думаю, ему это пара пустяков, — подумав, сказал Стасик. — Только надо его заинтересовать.

— Ага. Стимул, — сообразил Еремичев, так как именно об этом слове больше всего сейчас говорилось во взрослом времени.

— Чего же он хочет?

— Мороженого, наверно, — сказал Стасик. — У нас его не производят. А он его любит.

— Мороженого?

— Ага, — вдруг оживился Рожков.

— А чего же вы его не изобретете? — засмеялся Еремичев. — Вы же все можете?

— А зачем его изобретать? — удивился Стасик. — Оно же давно изобретенное...

— Ну ладно, — сказал Еремичев. — Сколько пачек?

— Десять! — твердо сказал Рожков.

— Заболеете, — сказал Еремичев. — По две на брата. И все. Торг окончен.

— Ладно, — проворчал Рожков. — Поехали.

Стасик взялся за веревку.

— А без этого никак? — спросил Еремичев. — Уж больно того...

— Нельзя, — сказал Стасик. — Мы уж по-всякому пробовали. Только так. Иначе ему ничего в башку не приходит.

И он с отворачиванием посмотрел на санки.

— Ну валяйте, — сказал Еремичев. — Только без трясушки.

И пошел домой. Сзади послышался скрежет.

Когда он заново разгорел чайник, дом опять затрясся. Всё повторилось — и с ложкой, и с челюстью.

— Опп-пять трясушка? — выкрикнул. — Мы не договаривались! Дрожание прекратилось.

— Это мы, чтобы вызвать вас, — крикнул Стасик. — Спускайтесь. Готово.

— Как готово? Что готово?

— Что заказывали... Где мороженое?

Еремичев быстро спустился во двор, очень не веря случившемуся. Во времени взрослых ничего быстро не делалось. А если

делалось, то называлось "халтура". Честное слово — было такое слово.

А пацаны показали ему чертеж. Но очень-то он был умело нарисован. Но на нем... кажется... было...

— Э, — сказал Стасик, пряча бумагу за спину, — мороженое... Забыли?

Еремичев потоптался на месте, порылся в карманах, а затем повернулся и побежал за угол, к киоску.

— Сейчас получишь свое мороженое, — сказал Стасик. — Заработал.

Рожков с минуту о чем-то подумал. Потом сказал:

— Слушай, а зачем ему эта штука?

— Какая? — спросил Стасик, посматривая на угол дома.

— Ну которую мы сейчас нарисовали?

— Как зачем? Он же сказал — для ракеты.

— Это понятно. А зачем ему ракета?

— А черт его знает. В космос летать...

— А зачем...

— Да что ты ко мне пристал! — рассердился Стасик. — Зачем, зачем? Я знаю? У них так положено. А очень интересно — у него спроси...

Еремичев возвращался бегом. Один из брикетов подтаял, из обертки капало. Несколько капель попали на брюки. Любой бы взрослый на месте Еремичева из-за этого расстроился. Но этот взрослый был сейчас занят только одной мыслью.

— Вот так пошутил, — бормотал он на бегу. — Неужели? Вот так пошутил...

Получив желаемое на границе, обе стороны занялись своими делами. Пацаны устроились на санках и принялись за мороженое.

Еремичев скрылся в глубинах своего времени, где тут же закипела срочная работа.

И прошел год. Но это во взрослом времени. Во времени детей этот срок, возможно, был иным. Время там измерялось не очень регулярно. От случая к случаю — отметкой на дверном косяке над чьей-нибудь вихрастой макушкой.

А во взрослом времени взлетела ракета. С людьми, между прочим. К далеким звездам. Очень надолго улетела. О чем и было сообщено в газетах и речах.

Когда речи отгремели, Еремичев вспомнил о ребятах. Потому что во взрослом времени появилась еще одна идея. И вновь она была связана с запуском ракеты. Но такой, чтобы она могла вылететь за пределы Галактики и вернуться. С людьми, между прочим. Совсем уж особенная какая-то ракета. Вот почему Еремичев вспомнил о ребятах.

А вспомнив о них, он подошел к окну и посмотрел за границу.

Стасик и Рожков сидели почти там же, где прошлый раз оставил их Еремичев. Сидели они на санках, и Стасик в чем-то горячо убеждал сонного по обыкновению Рожкова.

— Эй, — окликнул их Еремичев из своей страны. — О чем спор? Хотите мороженого?

— Кто же не хочет, — резонно ответил Стасик. И даже Рожков оживился.

— Сейчас угощу.

Еремичев сходил в тот же киоск, купил пару пачек пломбира.

— Это вам аванс, — сказал он, протягивая пачки через границу. — И будет еще, если поможете мне.

— Только никаких ракет, — сразу предупредил Стасик.

— Почему? — удивился Еремичев. — Чудаки. Это же интересно.

— Может быть, — сказал Стасик и поймал языком сорвавшуюся с краешка мороженого каплю. — Только этот толстый уже не может изобретать никакой техники.

— Это правда? — спросил Еремичев у Рожкова.

— Ага, — безмятежно отозвался тот, поглощенный мороженым. Еремичев вдруг чего-то заволновался, как делают все взрослые, когда чего-нибудь не понимают.

— Ребята, — сказал он. — Вы не думайте... Если там мороженое... Или жевательная резинка... Так за этим дело не станет...

— Да, нет, — сказал Стасик. — Дело не в этом. Нам не жалко. Просто возраст такой. Мы же растем. Вон у него голос ломается.

— При чем тут голос?

— Не знаю. Только все. Никакой техники.

— Жаль, — от души огорчился Еремичев. — Ну ладно. Будьте здоровы.

И ушел в глубь взрослого времени, задумавшись.

— И все же я не понимаю, — сказал Рожков, облизывая пальцы правой руки, что позволялось только в детском времени. — На что им эта ракета?

— Да я уж тебе сто раз объяснял, — сказал Стасик. — В космос летать. Чего тут непонятного?

— Это-то я понимаю, — сказал Рожков, лизнув на всякий случай и большой палец левой руки. — Что там в космосе им надо-то?

— Ну как что? Ну... Может, с инопланетянами хотят встретиться, с братьями по разуму...

— Но ракета-то зачем? — сказал Рожков, вытирая пальцы об штаны.


— Слушай, отстань, а, — жалобно попросил Стасик. — Откуда я знаю? А если интересно, спроси у этих, с Альдебарана. Кстати, они на связь тебя когда вызывают?

— Да пора уж, наверно. Впрягайся.

— Ох, — тяжело вздохнул Стасик, берясь за веревку. — Ты уж заодно и спроси у них, есть ли у них мороженое? Жарища сегодня, не могу.

— Ладно. Трогай, — сказал Рожков, поудобнее устраиваясь на санках.

Над двором раздался скрежет полозьев. Скрежет заполнил двор и вылетел на улицу. Он ничего не знал о границе.



Георгий ТАНУТРОВ

ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА "МЕТАЛЛ"!

"Осторожно – "металл"!" – предупреждала надпись на обратной стороне конверта, выполненная почему-то латинским шрифтом. Рядом скалился аккуратно нарисованный череп, под которым (на манер костей с пиратского флага "Веселый Роджер") пересеклись две электрогитары.

Содержимое конверта оказалось, однако, серьезнее. "Почему?" – рефреном проходило через все письмо.

"Почему, когда я слышу "хэви метал", я готов своротить горы? Почему этот стиль так популярен у нас, советской молодежи, и почему его все время пытаются потеснить "сверху"?"

Думаю, что вам не удастся ответить мне со страниц вашего журнала. Поэтому хотел бы встретиться с кем-нибудь из редакции и поговорить обо всем этом" (Дисплей, 16 лет, Москва).

Прежде чем позвонить Дисплею по указанному им телефону, я отложил его письмо в распухшую от почты папку с лаконичной надписью "хэви".

Две сотни писем о "металле", поступивших к нам за последнее время, можно условно разделить на три части. Первая – письма "металлистов". Возраст – от 13 до 18 лет. Вторая – послания их противников. ("Если опубликуете мое письмо, можете называть меня "антиметаллистом" – А.М. Левчук, Харьков). Возрастная амплитуда здесь куда шире – от 19 до 72 лет. Последняя, самая многочисленная категория – люди, не являющиеся приверженцами "хэви метал", но вместе с тем считающие "ситуацию, сложившуюся у нас вокруг "металлического рока", нездоровой" (из письма А. Кузина, Свердловская обл.). Возраст этой категории 18 – 55 лет.

Но начнем с полярных точек зрения. Выслушаем сначала противников стиля хэви метал-рок или "антиметаллистов".

РОДИТЕЛИ. "Я чувствую, как этот проклятый "металл" отдаляет

от нас сына. Он стал совсем другим. Приходит из школы и сразу садится слушать этот грохот. Если скажешь что против – надевает наушники, берет плеер и уходит на улицу...

Мы с мужем целый день на работе, а вот куда смотрят школьные учителя?" (Ленинград, Л.И. Балашова).

КОМСОМОЛ. "Люблю музыку но считаю, что "метал-рок" и рок вообще не несут ничего положительного. Наоборот, уводят от насущных проблем, действуют как своеобразный наркотик... Заметил одну закономерность: именно эти "металлисты", "брейкеры", "битломаны", "панки" и т.п. – самые злостные прогульщики комсомольских собраний именно они совершенно безразличны к общественной деятельности... Необходимо разработать серьезную, четкую программу борьбы..." (М. Бутнев, комсорг ПТУ, Днепропетровск).

МИЛИЦИЯ. "Фамилию назвать не могу, но мнение свое я все-таки выскажу. Считаю, что главные виновники всего этого "металлизма" – родители, потакающие извращениям своих сынков. Некоторые даже привозят из-за границы браслеты с заостренными шипами.

...Только разгонишь один такой "бункер" и отберешь у них цепи и прочую дребедень, как они объявятся уже где-нибудь в другом месте. И опять – при полной амуниции" (А.П., сотрудник милиции, Москва).

ШКОЛА. "Слишком много у них свободного времени, по 80 – 90 часов в неделю. Вот они от безделья и вешают на себя серьги и заклепки...



Фото Александра ЗЕМЛЯНИЧЕНКО



Я бы ввел производственную практику начиная с пятого класса, чтобы хотя бы два часа в день подросток занимался общественно полезным трудом... Да и комсомолу пора перейти от спячки к активной, наступательной позиции" (Н.А. Ковченко, преподаватель труда средней школы, Пермская обл.).

УЛИЦА. "Больше всего мы ненавидим ребят, которые хотят выделиться, поставить себя выше всех и для этого таскают медалионы, цепи и прочие железки. Поэтому, как только мы с ними встречаемся, происходит драка. Что ж поделаешь, если по-хорошему они не понимают. Приходится так их учить не отклоняться от нормы.

Вот только милиция никак не может понять, кто настоящие парни, а кто дешевка. Когда застают драку, забирают всех вперемешку – и нас, и "металлистов" (Виктор А., 17 лет, Москва).

Завершу эту часть подборки отрывком из письма московского "металлиста" Андрея Панчина (13 лет): "Я не понимаю, что происходит. Почему никто не нападает на "брейкеров", протирающих спины на танцплощадках, или дискоманов? Почему все – и дома, и в школе, и милиция, и люберы – все ополчились на нас, "металлистов"?.. Неужели не понятно, что чем сильнее будет штурм, тем яростнее мы будем отбиваться..."

Для того, чтобы читателю не показалось, что я сгущаю краски, оговорюсь, что далеко не все письма из двухсот прочитанных нами так драматичны по содержанию или резки по форме. Среди откликов есть письма родителей, в которых угадывается попытка понять увлечение своих облачив-

шихся в металл отпрысков, есть письма комсомольских работников, предлагающих открытый разговор на данную тему, есть и другие "рассудительные" послания.

Однако так уж устроено, что прежде всего в глаза бросаются крайности. Вот почему первой выделенной мной группой писем стали отклики крайних "антиметаллистов" – тех, кто вдохновил шестнадцатилетнего Андрея Панчина на такую удачную, на мой взгляд, метафору, как "штурм".

...Я без труда представил себе небольшой бастион, на воротах которого высечено: "ХЭВИ МЕТАЛ-РОК". На стенах стоят защитники – в напульсниках, цепях, клепаных куртках. Вокруг плотным кольцом расположились войска противника – крайние "антиметаллисты". Среди них – родители, учителя, милиция, комсомол, пресса и веселые накачанные ребята, любящие проверить прочность своих кулаков на ребрах сверстников, отклоняющихся от общепринятой нормы.

Нельзя сказать, что в действиях осаждающих чувствуется согласованность. Напротив, причины войны с "металлом" и планы ее ведения у каждого свои. Положение усугубляется взаимными претензиями, выяснениями отношений. Так, милиция тот факт, что крепость до сих пор не взята, объясняет слабыми действиями на фланге родителей, те ссылаются на инертность учителей, которые в свою очередь ожидают большей наступательной активности от комсомола. Но упреки и мелкие распри в момент исчезают, как только из осажденного бастиона доносится голос их об-

щего врага – музыка в стиле хэви метал.

И вот – кто-то таранит ворота, кто-то ставит лестницы, кто-то (кажется, пресса) опять выбрасывает белый флаг переговоров, под полотнищем которого угадываются очертания дубинки. А сверху, по всем законам осажденной крепости, им отвечают "металлисты" – отстреливаются, льют вар, опрокидывают лестницы. На войне как на войне!

Однако что же это все-таки за течение, из-за которого возникают подобные баталии? Что же это за "чудовище", которое (по мнению тов. Печуевой из Магнитогорска) может совсем погубить "нашу и без того распущенную молодежь"?

Рождение хэви метал-рока относится к концу семидесятых. Отдельные элементы этого стиля проскальзывали и раньше в произведениях хард-рока (например, "Звезде автостреды"). Однако как самостоятельная ветвь рок-музыки "хэви" формируется в 1978-79 годах. К этому моменту образ рефлексующего героя арт-рока и неврастенический тип панк-рока уже не удовлетворяют требованиям значительной части молодежной аудитории. И группа "Кисс" ставит перед собой задачу возродить хард-рок на новой, "металлической" основе...

"Да, хэви метал – это всего лишь музыкальное течение. Можно сколько угодно спорить о его достоинствах и недостатках, но пытаться запретить его абсурдно. Запреты могут привести к таким последствиям, которые не приснятся даже в кошмарном сне" (В.Н. Обручева, Краснодар).

...Прочитав эти строки, я по-

чему-то вспомнил один веселый, бесшабашный июль начала семидесятых, проведенный мной в подмосковном пионерлагере. Однообразная столовая кормежка и самодурство лагерного руководства компенсировались прекрасной погодой и удачным, как никогда, подбором ребят. Одним из основных критериев в оценке человека для нас (пионеров того времени) было его отношение к "Битлз". В этом смысле в нашем отряде все было в полном порядке.

Итак, день рождения Андрея. Ящик воды "Тархун", привезенный накануне родителями, портативный магнитофон Виталика, из которого совсем негромко (громче нельзя – тихий час) доносится музыка наших кумиров. "О-о – ге-о-о-ол!" – вполголоса подвываем мы. А сверху – немного насмешливо, но вместе с тем понимающе на нас смотрят они – Джон, Пол, Джордж и Ринго. (Это Денис, везде таскающий за собой вырезки из журналов, приколот их к стене кнопками, позаимствованными, как видно, со стенда "Трубите, горнисты!")

– Что там еще за вой! – раздаётся окрик из коридора, и мы узнаем голос Монстра, старшего пионервожатого, прозванного так еще ребятами прошлой смены. Виталик нервно нажимает "стоп" и прячет магнитофон под подушку.

– Почему не в кроватях?! – распахнув дверь, кричит Монстр. – А это что еще такое? – Взгляд его падает на стену, увешанную фотографиями. – Опять бит-лы?!

Откинув матрац Андрея, он пыхтя забирается на пружинящую сетку кровати, срывает со стены

все фотографии и складывает их в стопку.

— Вот! — восклицает Монстр и разрывает фотографии пополам. — Вот, — сложив половинки, разрывает их еще раз. — Вот! Вот! Вот! ...Разговор об этой гулянке продолжим на линейке! — Он неуклюже спезает с кровати и, бормоча что-то, уходит.

Несколько секунд растерянности... А потом — мы ползаем на корточках и, ругаясь сквозь зубы, подбираем с пола обрывки разорванных фотографий. Мы без труда узнаем грустные глаза Маккартни, и волевой рот Леннона, и большой кавказский нос доброго Старра. Денис, зарывшись лицом в колени, беззвучно плачет...

И вот тогда поднялся Андрей, наш именинник.

— Хватит вам ползать! — неожиданно закричал он. А потом подошел к тумбочке, вытащил из нее свой пионерский галстук и с треском разорвал его пополам.

— Хватит ползать!! — еще громче заорал Генка, и все, как бешеные, бросились к своим галстукам.

... "Зачем нашей молодежи этот чужеродный жанр хэви метал и рок вообще, раз они не несут ничего, кроме разложения? Разве мало у нас своих прекрасных музыкантов, певцов..." (Л.Д. Корнев, г. Донецк).

Примечательно, что во многих письмах, отвергающих рок-музыку, мы встречал одни и те же обороты — "чужеродный жанр", "оглушительный грохот", "разложение", "скрежет", "культ насилия", "дикие вопли" и т.д. При этом авторами нередко путаются такие понятия, как рок и эстрада, "новая волна" и хэви метал. Например, тов. Алиев И. из Сумгаита

предлагает запретить весь "металл", начиная с "Модерн токинг", тов. Ванышева из Ворошиловграда "видела в электричке одного такого "металлиста", всего в лохмотьях, а нос проколот булавкой", а тов. Мироненко А.Н. из Мурманской области ругает читателей хэви метал за пристрастие к "этой обезьяньей ламбаде".

Иными словами, во многих письмах противников рока чувствуется глубокое знание материалов прессы на эту тему при абсолютном незнании самого предмета обсуждения — рок-музыки.

Но можно ли очень строго судить подобную "категоричность" некоторых читателей? Едва ли. Так уж устроен человек, что неведомое всегда тяготит его, вселяет неуверенность. Возникает желание схватиться за первую же версию, объясняющую это явление. В Элладу грозы были не редкостью, но люди страдали не так от ливней и молний, как от непонимания причин происходящего. И первая же подкинутая версия — "Зевс гневается" — была воспринята ими на ура. Лучше жуть, чем неопределенность!

Нечто подобное произошло и с роком. "Чужеродный жанр, — глубокомысленно изрек кто-то, — оглушительный грохот и тлетворное влияние". "Чужеродный жанр, — бодро повторили газетчики, — и оглушительный грохот, и тлетворное влияние, и скрежет, и культ насилия..." И душевное равновесие большинства читателей — как двадцатилетней давности, так и сегодняшних (тт. Алиева, Ванышевой, Мироненко) — было восстановлено: не надо сомневаться, пересматривать свои музы-

кальные вкусы, пытаться понять новое течение. Зачем? Ведь рок можно просто предать анафеме, потому что это – "чужеродный жанр", "оглушительный грохот" и т.д.

Итак, с "успокоительными версиями" все ясно. Но что же было истинной причиной неприятия у нас рока до недавнего времени? Не то ли обстоятельство, что в условиях ущемления демократизма угловатый, будоражащий, призывный рок, родившийся как музыка протеста, был не для всех удобен?

Но, как известно, отвергнув "А", надо предложить "Б". В шестидесятые осуществить такую замену "чужого" "своим" оказалось (как это ни странно) проще. В эпоху расцвета творчества "Битлз" многие, даже из числа их обожателей, бреясь поутру, с удовольствием внимали звучащему из транзистора голосу, что-то весело рассказывающему об оранжевом море, оранжевом верблюде... А вечером, спеша на тайное прослушивание десятки раз переписанных магнитофонных лент с песнями Леннона и Маккартни, ловили себя на том, что насвистывают не "Мадонну" и не "Мистера почтальона", а популярный в то время у нас шлягер о черном коте, жившем за углом.

С появлением хард-рока в начале 70-х положение осложнилось. Отдавать нашу неискушенную молодежь на растерзание таким "акулам" рок-музыки, как "Дип перпл" или "Лед зеппелин", было боязно. Да и нелогично – ведь даже от "Битлз" берегли.

Однако время шло вперед – молодежь все настойчивее требовала рока. И вот тут бы кое-кому

проявить побольше смелости (впрочем, как и смекалки) и дать дорогу своему, уже существовавшему так называемому "подпольному" року – тем же "Аквариуму" или "Машине времени", группам самобытным, по-настоящему талантливым. Но вот беда – некоторые их песни были уж очень странными, а если копнуть глубже, то просто страшными, наводящими на такие размышления, что рядом с ними весь зарубежный рок казался безобидным карапузом, бьющим в игрушечный барабан. Довод "как бы чего не вышло" в очередной раз взял верх.

А молодежь тем временем все активнее передавала друг другу кассеты с записями рок-групп – как западных, чуждых по духу, так и отечественных "подпольных" – не менее чуждых. Слово "рок" (переводимое с английского как 1) скала, 2) качаться, колебаться, трястись) звучало все чаще, все громче. Кому-то оно и впрямь виделось грозной "скалой", нависшей над нашей доверчивой молодежью, – "скала" "качалась", "колебалась", "тряслась". Рок-рок-рок! Кто-то из юных уже собирался в бесхозных помещениях и играл в стиле "Дип перпл", кто-то подражал голосом Макаревичу... Нужно было что-то срочно предпринимать! Пусть даже идти на компромисс...

"Ну что же, сходят с ума от этих электрогитар – пускай будут электрогитары, черт с ними! Но играли чтобы приличные вещи, спокойные..." – пишет С.В. Грижелюк из Семипалатинска. Примерно так же рассуждали, вероятно, те, кто в начале 70-х наконец-таки понял: от рока не уйти!

Что же, хотят слушать электрогитары – пусть слушают! – на манер тов. Грижелюка рассудил кто-то. Но два условия: первое – чтобы музыка была "приличной". Никаких там призывов или раздражения. И второе – слова чтобы были на уровне, безо всяких намеков и двойных смыслов!

Именно на этом перекрестке "надо" и "нельзя" и появились на свет вокально-инструментальные ансамбли. Зачаты не в порыве любви, а по крайней необходимости, ВИА уже с рождения были обречены на роль нелюбимого дитяти. Попытка продолжить эстрадно-песенную традицию на основе рокового инструментария успехом не увенчалась. Молодежь по-прежнему слушала рок в "чистом" виде.

Поэтому-то ворвавшийся к нам чуть позже, в середине 70-х годов, игривый и чувственный стиль диско – куда более "покладистый", чем рок, ничем не раздраженный и ни к чему не призывающий – был принят теми, кто "заказывает музыку", как долгожданный гость. Не менее радушно был встречен он и юными. "Хочешь ли ты танцевать, детка?" – спросил стиль диско голосом Фрэнка Фариана ("Бони М") – и многомиллионная молодежная аудитория, уставшая от эклектизма ВИА, ответила однозначно: хочу! И – бросилась на встречу этой музыке – музыке смеющихся джунглей, залитых солнцем плантаций и гибких коричневых девушек и парней, танцующих под теплым дождем...

Потом были итальянцы с их дивными, жизнеутверждающими мелодиями, и мы взмывали под небеса в дельтаплане полете Тото Кутуньо и растворялись в не-

жных адриатических волнах голоса Ромины Пауэр...

"Когда я была совсем юной, у нас была музыка для души – итальянцы: Тото, Адриано, Матио, Рафаэла, – пишет Ю. Фистунова из Липецка. – А что для души сейчас? Что слушать, например, моей младшей сестре, которой 15 лет? "Ласковый май" или Диму Маликова? Но ведь это приторно..."

Вам никогда не приходилось в детстве переесть сладкого? И дорогих шоколадных конфет, и дешевого жирного торта, и варенья, и халвы – всего вперемешку – так, чтоб до тошноты? Если приходилось, то вы, вероятно, вспомните, что самое сильное желание после этого – впитать зубами в маринованный огурец, и чем острее он будет, чем больше в нем уксусу, – тем лучше.

После десятилетий кормления нашей молодежи музыкальными сладостями отечественного и импортного производства, вероятно, был нужен именно хэви метал. Но это, очевидно, лишь одна из причин популярности данного стиля.

Свою роль сыграла, конечно, и неподготовленность к восприятию более сложной музыки большинства молодежной аудитории. Сказалось незнание истории рока, его корней. Да и откуда было брать эти знания, если в 70-е до нас доходила лишь минимальная информация о хард-роке, не говоря уже о более сложных течениях (арт-рок, джаз-рок, фьюжн). Да и сегодня о таком интересном, крайне популярном в США музыкальном стиле, как "соул", знают лишь единицы. Неудивительно, что именно хэви метал (являющийся по сути схема-

тизированным, упрощенным хард-роком), стойко занимающий последние места в зарубежных хит-парадах, стал – в силу своей доступности, зрелищности и эмоциональности – предметом любви значительной части нашей молодежи.

Не могла не сказаться и "техническая" сторона дела. Звучание некоторых "металлических" инструментов ассоциируется со звуками, окружающими нас в повседневной жизни, – гулом автострэдды, лязганьем трамваев, рокотом станков. Понятно, что такое "звуковое родство" вызвало доверие к стилю – особенно поверили хэви горожане. (Почти 100 % писем, подписанных "металлист" или "сторонник металла", пришли из городов – как правило, от учащихся ПТУ или школьников с 7-го по 11-й класс).

Однако главная причина популярности стиля, по-моему, все же иная. Хэви метал предложил героя. Не псевдопатриота, не верящего в свой патриотизм, не псевдовосельчака с натянутой улыбкой, не псевдовлюбленную со слезой, подпущенной из пипетки, а цельный характер, сочетающий в себе силу, уверенность, волю, нацеленность на борьбу. Успех подобного героя у нашей юной аудитории понятен. 14 – 18 лет – это возраст повышенного нонконформизма, возраст, не приемлющий никакой фальши, возраст, когда ручка "контрастность" повернута до предела.

– ...А вам не кажется, что "металл" – это пощечина? – неожиданно спрашивает Дисплей. (Мы встретились примерно через неделю после того, как я получил его конверт с угрожающим чере-

пом, и вот уже добрых часа полтора беседуем, сидя на одной из ребристых скамеек Сретенского бульвара, как будто специально созданной для подобных бесед.)

– Пощечина чему? – спрашиваю я.

– Да всему. Всей нашей сытой поп-культуре. Да и не только ей... Сытости вообще.

– Поэтому ты и носишь вот это? – Я указываю на экзотический, поблескивающий на солнце браслет (Кроме него, на Дисплее клепаная куртка, цепь с медальоном, перчатка с резаными пальцами – все, как положено.)

– Я – да. Но так думают не все. Среди нас много ребят, которые одеваются в металл, чтобы показать свою преданность стилю. А есть и такие, кто вообще не носит ничего металлического, но при этом боготворит хэви. А для меня главное – чтобы встряхнулись все те старшие, кто так складно говорит... а внутри сплошная фальшь. Или пустота... Я хочу, чтобы они обалдели от нашего вида, от нашей музыки, чтобы они остановились и задумались: "А так ли мы живем?"

"Когда я вижу, как посягают на наш хэви метал, я чувствую, что люблю его еще больше и готов сражаться за него... Вы, конечно, этого не поймете, но под звуки "металла" по моей спине начинают бегать мурашки, сердце колотится все быстрее..." (Олег Л., 15 лет, г. Курск).

Почему же не пойдем, Олег? Понять мы сможем. Ведь и нам когда-то было пятнадцать, и те же самые мурашки бегали по нашим спинам. Другой вопрос, что мы не сможем этого ощутить. В этом ты прав – моему поколению (я го-

ворю о большинстве), тем, кто вырос на "Битлз", вряд ли когда-нибудь удастся прочувствовать до конца "Скорпионз" или "Айрон Мейден", точно так же, как для поколения наших отцов недоступными остались ритмы 60-х – 70-х.

Но это, наверное, не главное. Главное, чтобы разница музыкальных вкусов не становилась между поколениями непреодолимой стеной. Главное – не путать таких понятий, как форма и содержание, помня, что первое имеет в глазах тех, кому сегодня 15, гораздо большее значение, чем второе. Это потом, с годами, внешнее начинает все более и более вытесняться внутренним, и мы меняем яркие кинобоевики на психологические фильмы, а шумные приятельские "тусовки" на двух-трех настоящих друзей. Хорошо, если кинобоевик, обожаемый тобой в юности, вдруг открывает тебе лет двадцать спустя неведомые доселе глубины, а школьный приятель окажется тем человеком, с которым тебе захочется идти плечом к плечу через жизнь. Но, к сожалению, такое бывает редко: критерии, выдвигаемые юностью и зрелостью, слишком разные. И музыка здесь не исключение.

В этом смысле нашему поколению, вероятно, повезло больше других – у нас были Джон, Пол, Джордж и Ринго. Повторится ли подобное с нынешними пятнадцатилетними? Смогут ли они, взглянув лет через пятнадцать на свой любимый стиль иным, более мудрым взглядом, найти в нем новые интересные грани и влюбиться в хэви метал второй раз – теперь уже другой, зрелой лю-

бовью? Не знаю. Может быть, и смогут. Может, я просто не способен разглядеть в их кумирах то, чего не сумели разглядеть в "Битлз" наши родители.

А если даже и не смогут? Если "металл" – всего лишь однодневная бабочка. Все равно – имеем ли мы право накрыть ее сачком? И дело здесь даже не в том, что хэви метал – музыка их юности, а юность так быстротечна, что сама похожа на бабочку-однодневку. Дело в том, что форма – это не только то, перед чем благоговеет молодежь, не только то, чего она настойчиво от нас требует, но еще и то, что она очень остро чувствует.

...Мы прощаемся. Дисплей искося поглядывает на мои часы – его собственные, как он признался, не ходят уже полгода. (Но почему-то он их не меняет – наверно, из преданности массивному металлическому браслету.) Он спешит – через час где-то в районе Ясенева у Штифта будут слушать хэви. Он должен успеть... Мыжимаем друг другу руки.

– Я не знаю, как это объяснить, – Дисплей опускает глаза, – но я чувствую: "металл" сейчас нужен. И не только нам. Всем. Не забывайте об этом...

Он резко поворачивается и идет в сторону метро. Но... шагов через десять вдруг останавливается и, обернувшись, скидывает кулак с двумя оттопыренными пальцами – указательным и мизинцем. И – то ли получившийся "дьявол" подсказал ему эту мысль, то ли так было задумано, но – в вечерний воздух Сретенского бульвара вонзается неистовый крик:

– Люди гибнут за "металл"!!!

ИЩУ ДРУГА

Многие из ребят, написавших нам письма с просьбой открыть рубрику "Ищу друга", хотели бы, чтобы их адреса хранились в редакции, а письма бы пересылались. К сожалению, сейчас мы не имеем возможности сделать наш "клуб знакомств" анонимным: в редакции работает всего несколько человек, нагрузка на них весьма велика... Впрочем, со временем к этой идее мы, может быть, вернемся. А пока – напоминаем, что, кроме домашнего адреса, существует возможность получать письма и "до востребования".

И еще одно. Мы решили не печатать письма тех, кто ставит условием переписки "вкладывать в письмо конверт со своим адресом". Конверт стоит 6 копеек, которыми, нам кажется, располагает любой наш читатель. И можно ли требовать, чтобы человек, обратившийся к тебе с открытой душой, еще и оплачивал твой ответ?..

Тане и Лене из Уфы – тринадцать лет. Остальное – загадка. Попробуйте разгадать.

450055, Уфа, ул. Российской, 74, кв. 59. Пряхина Таня.

450055, Уфа, ул. Российской, 54а, кв. 79. Топорова Лена.

Из письма 15-летней Светланы и 18-летней Ирины мы поняли, что они – поклонницы популярных групп "Сталкер", "Фея", "Маленький принц", "Любэ" и других. И, конечно, "Ласкового мая" – чемпиона популярности!

446022, г. Сызрань Куйбышевской области, ул. Локобельная, д. 25, кв. 28. Иванова Светлана.

446022, г. Сызрань Куйбышевской области, ул. Локобельная, д. 25, кв. 35. Спиридонова Ирина.

Наш 17-летний корреспондент, сурово разбранив первый номер нашего журнала, просит опубликовать только его адрес, скрыв даже имя. Просьбу выполняем.

г. Уральск, 4-й микрорайон, дом 14, кв. 96.

А вот тринадцатилетней Вике, напротив, журнал очень понравился. И просьбу она высказывает вполне конкретную: ей хочется переписываться с другом, живущим на Камчатке или на Сахалине. "Думаю, что у меня будет надежда на это", – пишет она. Конечно, есть!

644106, г. Омск, ул. Лукашевича, д. 10, кв. 189. Воищева Вика.

ИЩУ ДРУГА

Двенадцатилетняя Наташа обещает непременно ответить всем, кто напишет ей. Она любит танцевать, любит животных, коллекционирует открытки, календарики, переводные картинки.

157940, Костромская область, п. Красное-на-Волге, ул. Волжская, 14 – 1. Яблонская Наташа.

Шестнадцатилетняя Лена уже работает, но труд не мешает ей быть современным человеком, увлекаться группами "Любэ", "Бон Жови", "Депеш мод" и др.

247760, Белорусская ССР, Гомельская область, г. Мозырь, ул. Малинина, д. 14, кв. 5. Попова Елена.

Четырнадцатилетняя Таня любит танцы, музыку, песни под гитару, ее любимая группа – "Любэ", кумир – Цой. Просит писать парней и девчонок 15 – 17 лет.

461760, г. Абдулино Оренбургской области, ул. Пушкина, д. 7в, кв. 2. Щукина Таня.

У четырнадцатилетней Олеси уже есть друзья – в Армении и в Германии. "От этих девочек я узнала очень много интересного и полезного об этих республиках", – пишет Олеся. Она увлекается современной музыкой, собирает календарики и фото. В друзьях ценит смелость и спокойный характер.

188900, г. Выборг Ленинградской области, Сайменское шоссе, д. 30, кв. 4. Бабич Олеся.

"Мне 14 лет, – пишет Ира, – увлекаюсь конным спортом. Люблю музыку, нравятся такие группы, как "Фристайл", "Форум", "Маленький принц". Много читаю. Хотела бы найти друзей по переписке, не важно, будет ли это парень или девушка". Что к этому добавишь?

340055, г. Донецк, Комсомольский просп., д.6, кв.6. Ирина К.

Пятнадцатилетняя Аня, видимо, очень добрый человек: она хотела бы стать другом по переписке, "младшей сестрой" парней, прикованных к больничной койке, которым было бы интересно получать письма от девчонки, "еще ничего не смыслящей в жизни".

141730, Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, д. 10, кв. 21. Сысина Анна.

Четырнадцатилетний Вадим, называющий себя для краткости Джимом, – начинающий рок-музыкант, гитарист. Его интересы – классический рок, фолк-рок. Он сам пишет песни, "близкие к песням Дж. Леннона и А. Макаревича", – пишет он в редакцию без ложной скромности. Что ж, мы рады за Джима, если у него хорошо получаются песни. Он хочет переписываться с членами самодеятельных рок-групп, всеми теми, кому близки его интересы.

210002, г. Витебск, ул. Вострцова, 13-78. Степанович-младший.

Шестнадцатилетний Николай хочет познакомиться с девушкой 15 – 16 лет, которая увлекается "зеленым" движением.

191186, Ленинград, до востребования, а/я 498. Смирнов Николай.

И снова адрес из Ленинграда. Пятнадцатилетняя Юлия – будущий педагог, интересуется историей и музыкой, играет на фортепьяно. Поклонница Виктора Цоя. А вообще – любит трепаться, гулять, танцевать.

192283, Ленинград, ул. Будапештская, 91-2-38. Алексеева Юлия.

Пятнадцатилетняя киевлянка Лена хочет переписываться с честным, хорошим и симпатичным парнем. Вот только какое качество ее будущего друга для нее главное, а?

252191, Киев, ул. Крейсера "Аврора", д. 1, кв. 169. Лена.

Другая Лена – москвичка – написала о себе только то, что она семиклассница. Значит, сколько ей лет – задачка на сложение. Остальное тоже покрыто мраком неизвестности.

127577, Москва, ул. Бестужевых, д. 16, кв. 12. Богданова Лена.

Наш читатель Саша спрашивает, почему в журнале 192 страницы, а не 200. Отвечаем: журнал сшивается из тетрадок, в которых или 32, или 16 страниц. Так уж устроены типографские машины. Но главное – у Саши нет друга. "Я люблю читать, коллекционирую марки и вкладыши от жвачек, люблю музыку. Учусь хорошо. В классе я нужен только на контрольных. Может, среди читателей "Мы" есть похожие на меня?". Да, Саша, похожие на тебя есть. Мы получаем от них много писем. Наверное, и ты их получишь немало...

396912, Воронежская область, Семилукский район, село 1 Старая Ведуга. Дрожжин Саша.

ИЩУ ДРУГА

Многие наши читательницы просят публиковать в журнале кулинарные рецепты, рассказывать, как вкусно готовить. Нам написал даже один мальчик: "Если вы не будете печатать рецепты борщей, я на вас не подпишусь". Что ж, насильно мил не будешь. Наверное, все же не дело **литературного** журнала печатать уроки из кулинарного техникума – об этом, кроме как от Хазанова, можно узнать из множества книг и других журналов. Но мы с удовольствием публикуем адрес четырнадцатилетней Ольги, собирающей кулинарные рецепты, еще, кстати, любящей читать, слушать музыку.

440003, г. Пенза, ул. Осоавиахимовская, д. 14, кв. 2. Сеньник Ольга.

Марине 15 лет, она занимается в спортивной школе. Любит детективы – в кино и в литературе. Марина просит писать ей мальчиков и девочек ее возраста и старше.

646920, г. Калачинск Омской области, ул. Черепова, 60-50. Дюкова Марина.

И еще один адрес. Маше 14 лет, она общительная девочка, но ощущает одиночество в душе. Увлекается ездой на мотоцикле. Ждет писем от мальчиков.

403850, г. Камышин Волгоградской области, ул. Гагарина, д. 151, кв. 58. Корнеева Маша.

Одну из наших читательниц очень огорчило письмо девочки из Москвы, скрывшейся под инициалами "К.О." (напоминаем, оно опубликовано в № 1 за 1990 год). Письмо называлось: "Мне говорят – ты плохой человек". Откликнись, К.О.!

397140, г. Борисоглебск Воронежской области, ул. Сенная, д. 26а, кв. 2. Фролова Ольга.

Мы ждем ваших писем, дорогие читатели! Пусть друзья, найденные на страницах журнала "Мы", будут для вас самыми близкими. Пишите о своих интересах, пристрастиях, кумирах, о жизни вообще... И не забывайте *разборчиво* писать свой адрес и фамилию.

НА МАЛОМ ЭКРАНЕ

*Какой фильм стоит
посмотреть в видеосалоне
недалеко от дома?
Сейчас их в нашей стране
тысячи, и программы
здесь разнообразные.
Но все-таки, если у тебя
в кармане денег
только на один фильм,
на какой же раскошелиться?
В каждом номере мы будем
рассказывать о сюжетах
некоторых картин,
появившихся на видеокассе-
тах, и давать им свою оценку.
Вы можете с ней
и не согласиться,
однако мы постараемся
учесть интересы
наших молодых читателей.*

***** – отличный фильм
**** – хороший
*** – неплохой
** – ничего особенного
* – плохой

Боевики – это, пожалуй, самый излюбленный жанр молодежи. Да и, честно говоря, сам с удовольствием смотрю такие фильмы, хотя к молодым относить себя уже не могу. Иногда хочется полюбоваться Жаном Клодом ван Дамме, его мастерством восточных единоборств. Но серьезно относиться к таким лентам не могу. Моим кумиром он уже стать не может, как и Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрэн, Арнольд Шварценеггер. Хотя одна роль последнего мне очень нравится – в "Близнецах" вместе с Денни де Вито.

Другое дело Мел Гибсон – актер, который превосходно справляется с любой ролью – в боевике, комедии, драме. Во многом успех второй части "Смертельного оружия" обязан именно ему, как, собственно, и первой части.

"Море любви" – эротический триллер, как его называют в Америке, пользовался большим зрительским спросом. После некоторого перерыва вновь на экране Аль Пачино ("Крестный отец", "Лицо со шрамом") в роли полицейского детектива, разыскивающего маньяка-убийцу. В конце концов он находит преступника, но в ходе расследования влюбляется в подозреваемую. Если увидите название этого фильма в одном из отечественных видеосалонов, не забудьте спросить разрешения у родителей – в США на такие фильмы подростки допускаются только в сопровождении взрослых.

Фильмы с Майклом Дугласом ("Роман с камнем", "Уолл-стрит") всегда привлекают внимание зрителей. В "Черном дожде" он отправляется в Токио, сопровождая

японского мафиози, пойманного им в Америке. Картина насыщена стрельбой, погонями, драками. Герой Дугласа возвращается домой, сумев расправиться с преступниками на чужбине.

"Гарлемские ночи", по мнению звезды Голливуда Эдди Мерфи ("48 часов", "Полицейский из Беверли-Хиллз"), не совсем удался. В этой картине любимое дитя Парамаунт Пикчерз Эдди дебютировал в роли режиссера, а впоследствии сказал, что больше никогда не будет совмещать две профессии — актера и режиссера. Картина об удачно повернутой афере отца (Ричард Прайор) и его приемного сына (Мерфи) — владельцев игорного бизнеса очень смахивает на знаменитый фильм режиссера Джорджа Роу Хилла "Афера" с Полом Ньюманом и Робертом Редфордом в главных ролях, но явно ему уступает.

Джеймс Белуши ("Директор", "Красная жара") несколько переиграл в боевике-комедии "Собачья работа", что совершенно не коснулось великолепной немецкой овчарки по прозвищу Джери Ли. Полицейский, который трудно уживался со своими партнерами, в конце концов выбрал себе в напарники собаку. Тот, кто неравнодушен к овчаркам, да и вообще к домашним животным, будет в восторге.

"Смерти вопреки" — один из самых последних американских боевиков. Снят он безукоризненно, как и большинство голливудских фильмов, но меня, честно говоря, раздражают картины, где с самого начала безошибочно определяешь концовку. Лос-анджелесский полицейский в исполнении Стивена Сигала ("Нико") следит за преступной бандой. Последние безошибочно определяют смельчака, врываются к нему в дом и убивают жену, ранив главного героя. Семь лет он находится в коматозном состоянии и на-

конец, очнувшись, отправляет всю банду в мир иной. Вот такой лихо закрученный сюжет.

Теперь немного о комедиях. "С пистолетом наголо" — картина, поставленная Джерри Цукером ("Самолет", "Безжалостные люди"), осмеивает как полицейских, так и всех остальных, включая английскую королеву. Многим фильм может показаться странным — мы не совсем привыкли к такому специфическому юмору. И тем не менее все, что происходит на экране, не может не вызвать смеха. Как и комедия Артура Хиллера "Ничего не вижу, ничего не слышу". Вновь на экране Ричард Прайор ("Гарлемские ночи", "Миллионы Брюстера") и Джин Уайлдер ("Женщина в красном", "Молодой Франкенштейн") вместе (этот тандем снялся в двух фильмах — "Серебряная стрела" и "Сойти с ума"). Один глухой, другой слепой. При них происходит убийство. Смешно, но уж слишком часто герои выражаются нецензурной бранью. "Общество мертвых поэтов" — единственный фильм в нашем списке, который получил высшую оценку. Сценарист Том Шулман был удостоен премии Американской киноакадемии — Оскара. В один из самых престижных колледжей США возвращается его бывший ученик в качестве преподавателя литературы. Несмотря на строгие правила школы, он учит ребят быть свободными. Читать то, что им нравится, заниматься тем, что они больше всего любят, и даже ходить раскованно, не обращая внимания на окружающих. Но в колледже происходит трагедия, и во всем обвиняют преподавателя литературы. Главная роль великолепно исполнена Робинот Уильямсом ("Доброе утро — Вьетнам"), также представленным на премию Оскара, однако не получившим престижный приз.

Александр АДИН



**ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ
(BLACK RAIN) ******

США 120 мин. Боевик 1989

**МОРЕ ЛЮБВИ
(SEA OF LOVE) ******

США 108 мин. Триллер 1989

**НИЧЕГО НЕ ВИЖУ,
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ ****
(SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL)**

США 98 мин. Комедия 1989

**НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2
(BACK TO THE FUTURE 2) ******

США 103 мин. Фантастика 1989

СОБАЧЬЯ РАБОТА (К-9) ***

США 97 мин.
Боевик/комедия 1989

**ПОДЛИННЫЕ УЛИКИ
(PHISICAL EVIDENCE) ****

США 95 мин. Триллер 1988

**СМЕРТИ ВОПРЕКИ
(HARD TO KILL) *****

США 94 мин. Боевик 1990

СКАНДАЛ (SCANDAL) **

Вбр 110 мин.

Политический триллер 1989

**ГАРЛЕМСКИЕ НОЧИ
(HARLEM NIGHTS) *****

США 111 мин.

Комедия/боевик 1989

**С ПИСТОЛЕТОМ НАГОЛО
(NAKED GUN) ******

США 86 мин. Комедия 1988

**КРАСНЫЙ СКОРПИОН
(RED SCORPION) ***

США 98 мин. Боевик 1988

**ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ ПОЭТОВ
(DEAD POETS SOCIETY) ******

США 124 мин. Драма 1989

**СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2
(LETHAL WEAPON 2) ******

США 109 мин. Боевик 1989

В скобках указаны
названия фильмов в оригинале





Фото Александра ЗЕМЛЯНИЧЕНКО

Цена 1 руб. 20 коп.
Индекс 70554